

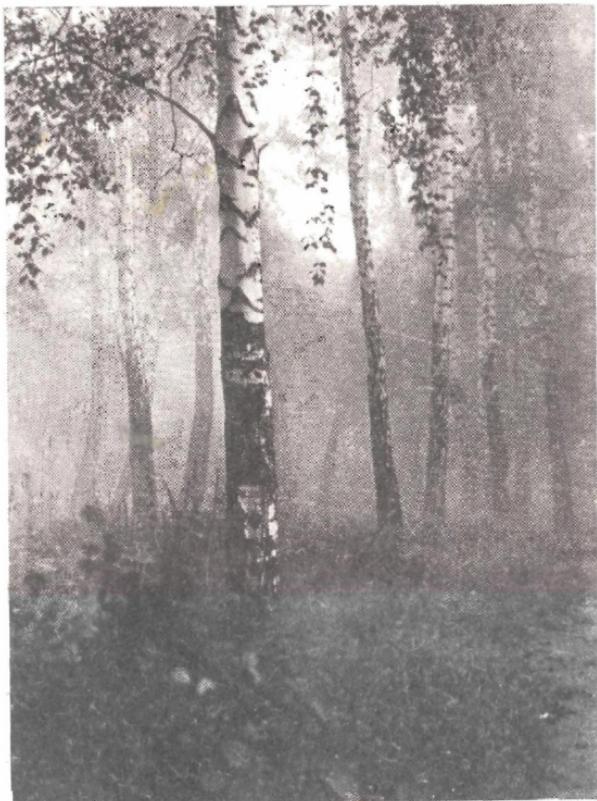
БИБЛИОТЕКА

ISSN 0132-2095

№ 42 1991

ОГОНЁК

МОСКВА



Дмитрий БАКИН

ЦЕПЬ

Издается с января 1925 года

Дмитрий БАКИН

ЦЕПЬ

РАССКАЗЫ

Москва. 1991

Дмитрий БАКИН

Дмитрий Геннадиевич Бакин родился в 1964 году в Донецкой области. Работает шофером. Рассказы его печатались в журналах «Октябрь» и «Огонек». С именем Д. Бакина литературная критика связывает появление новой волны в современной прозе. «Цепь» — первая книга молодого прозаика.

На обложке: фотозтюд М. Савина.

ЛИСТЬЯ

Мальчишкой двенадцати лет он пришел в поселок со стороны поля, так что река была у него по левую сторону, а лес по правую, и прежде чем попасть в поселок, прошел через кладбище без ограды по тропинке, усыпанной речным песком, и его босые ноги, нечувствительные к острым камням и битому стеклу, чувствовали неизменный холод земли. Он пересек пустырь, миновал дом на отшибе, не постучавшись, потому что знал — на отшибе живут угрюмые, жесткие люди, готовые к бегству, — миновал второй дом, потому что тот был слишком велик, миновал обломки третьего дома, а в четвертом был принят грязным одноруким мужчиной и крепкой подслеповатой женщиной, семнадцать лет бездетности ожидавшими прихода Иисуса Христа. Некоторое время они молча смотрели на него, потом ушли в соседнюю комнату и о чем-то тихо говорили, потом вернулись. Однорукий мужчина сел за стол, а женщина стояла сбоку и смотрела в стену. Мужчина спросил — ты откуда?; он молчал, глядя мужчине в грудь; мужчина сказал — ты родился в этом доме до войны; глядя мужчине в грудь, он сказал — нет; мужчина поднял руку и указательным пальцем ткнул в сторону незастеленной кровати — вот здесь; он сказал — нет; мужчина хмуро сказал — ты родился двенадцать лет назад, тебе двенадцать лет, ты родился в августе; женщина, по-прежнему глядя в стену, сказала — в первое воскресенье сентября; мужчина повернул к ней застывшее, сосредоточенное лицо, челюсть его задвигалась, потом отвернулся и сказал — в сентябре; он сказал — нет; мужчина встал и сказал — точка.

Наутро он был умыт, подстрижен, накормлен супом из крапивы и прибит гвоздями к фамилии Бедолагин. Три раза он пытался бежать из дома однорукого мужчины и подслеповатой женщины и три раза был пойман — два раза в лесу, где ел улиток после дождя, отыскивая их под камнями или отдирая от намокших коряг, и один раз на железнодорожной станции, где ждал поезда, не заметив, что рельсы разобраны. После этого он больше не пытался бежать, молча делал все, что просили, старательно избегая смотреть на людей. Однорукий мужчина как-то сказал — ему стыдно за нас. Но женщина сказала, что это — смирение.

Когда военнопленные немцы уложили рельсы на новые деревянные шпалы и укрепили насыпь там, где она была разрушена взрывами бомб, и путь к бегству был открыт для каждого, умер одnorукий мужчина. Перед тем как умереть, он две недели не вставал с кровати, если не считать тех редких случаев, когда выходил на улицу по нужде, что случалось все реже, по мере приближения смерти, потому что он ничего не ел и не пил. Под двумя одеялами и рыжей от сырости шинелью, под туго натянутым чехлом высохшей кожи его кости не чувствовали ни жары, ни холода — как раз тогда он сказал женщине, что человек чувствует жару и холод костями и голод и жажду костями. Больше он ничего не сказал, потому что имел полное право забыть значение всех слов. Руководимый теми, кто давно умер, он подчинил каждую клетку своего организма стремлению к смерти, отказываясь от лекарств и целебных настоек, которые пыталась влить в него женщина в минуты забвения.

Сидя в углу и все еще чувствуя себя чужим, Бедолагин-младший впервые с тех пор, как пришел в поселок со стороны поля и попал в этот дом, открыто, не пряча глаз, разглядывал подслеповатую женщину и одnorукого мужчину, который умирал. Женщина говорила что-то мужчине глухим, мрачным голосом, звучавшим неторопливо и размеренно, точно бой часов, а потом поняла, что он ничего не ответит, потому что не понимает больше человеческих слов. Она выпрямилась, медленно отошла от кровати и посмотрела на Бедолагина-младшего. Он смотрел ей в лицо и в глаза, не отводя взгляда, ибо знал уже, что останется в этом доме навсегда и займет место одnorукого мужчины по неписаному земному закону, когда жизнь занимает место, освобожденное смертью, и на нее обрушивается наследство.

Бедолагин-младший, который стал просто Бедолагиным и открыто смотрел на людей, не пошел на кладбище, куда понесли одnorукого мужчину, подняв на гребень волны одинокого плача, после того как бабка, проживавшая на отшибе, обмыла его и побирила, припудрив синие щеки пыльцой красного цветка. Но те, которые несли одnorукого мужчину, и те, которые сопровождали гроб, не могли избавиться от уверенности, что Бедолагин-младший следует за ними, прячась в подворотнях, перебегая от дерева к дереву, от дома к дому, а потом, спрятавшись за могилами, следит, как они его хоронят. Сидя за столом в доме Бедолагиных в день поминок, пьяная от самогона и недоедания бабка, проживавшая на отшибе, пела хвалебные гимны одnorукому, вертясь на стуле, точно маленький смерч пуха и праха, едва сохраняя равновесие и глядя на Бедолагина-младшего, который сидел напротив, обезвоженными коричневыми глазами, блестящими, как полированное дерево, сказала — вот плод — и сказала — мертвого семени. Первой встала и начала прощаться. В движениях ее не было и тени обреченности, какая появляется в движениях людей задолго до старости. Однако никто не решился прикоснуться к ней, опасаясь, что она рассыплется пылью, подоб-

но старинной вазе, пролежавшей века на дне оксана в неподвижном растворе воды, соли и времени, и прощались с ней только глазами, как прощаются с миражем.

Летом того года, когда умер однорукий мужчина и когда стало известно, что война окончена на Западе, но не окончена на Востоке, и через всю страну в длинных эшелонах провезли тела и души солдат, еще способных воевать, а также уцелевшую в боях военную технику, погруженную на стальные платформы, а в санитарных эшелонах провезли глаза оглохших, уши ослепших, мычание онемевших, жажду раненных в живот, война для которого была окончена раз и навсегда, женщины поселка, гоимые голодом, прихватив котомки, узелки и сумки, ушли в сторону Херсона, где надеялись на пожитки, не тронутые немцами, выменять семена, патрубки, домашнюю птицу и скотину. Несколькo калек, демобилизованных в начале войны, несколько контуженных, а также женатый дурак, имевший военную бронь, предписывавшую ему не трогаться с места, стояли посреди мертвого поля и смотрели, как нагруженные женщины идут по белой пыльной дороге, минуют сосновый бор и церковь на холме, а потом скрываются за поворотом, и ни один из них не верил, что они вернутся, пребывая в убеждении, что белая пыльная дорога и есть та дорога, по которой можно идти вечно и бесследно исчезнуть, растворившись в воздухе. В поселке мужчины разошлись по домам, проклиная свою немощь, запирая двери на все замки, щеколды и засовы в надежде отгородиться от мира, где, растворившись в воздухе, бесследно исчезли женщины; обставились бутылками, бутылками, ведрами и канистрами с самогоном, очертив ими круг своих владений, и погрузились в тяжелые волны опьянения, засыпая в поисках ответа, убежденные в том, что всему, что снится, предначертано верить, ибо реальность — половина правды и негде людям искать вторую половину правды, кроме как во сне. Таким образом, выстроив себе тюрьмы, казематы и темницы, чего требовали поиски правды, они прожили за решеткой своей немощи две недели, в течение которых погрязли в бесплодных раздумьях, валяясь под столом в собственной блевотине, среди плевков, замусоленных окурков и кусков глины от сапог; среди стущавшейся мглы, на ничейной земле; забыв название того, на поиски чего шли.

Между тем дети, получившие полную свободу, с рассвета и до заката долгих летних дней пропадали в лесу, где искали разрушенные, засыпанные блндажи и брошенные землянки, возились в тесноте земли, рискуя быть заваленными прогнившими бревнами, натываясь на рваные осколки, ржавые тросы для буксировки, полуистлевшие куски прорезины, хомуты, рассчитывая найти оружие и боеприпасы, чтобы взорвать их в огне костра.

В начале третьей недели женщины вернулись, впряженные в ляжки котомок и сумок, застав во дворах сдыхающих от голода собак, одичавших кошек и взъерошенных ворон на крышах домов. Жена дурака вошла во двор, затачив туда же тощую, грязную козу, глядя на которую

можно было твердо сказать, что она мертва, если бы та не перебирала ногами, привязала ее к изгороди и устало двинулась к дому, но-входная дверь оказалась закрытой изнутри. Она колотила в дверь руками, ногами, древком лопаты, обухом топора, камнями, с разбегу налетала на дверь плечом и надтреснутым, жутким голосом выкрикивала ругательства, собираясь высаживать оконные стекла, как дверь со скрипом открылась и показалось желтое, как песок, небритое, перекошенное удивлением лицо и на нее уставились неподвижные, безумные глаза, какими провожали ее одичавшие коты, когда она шла по поселку к дому, а поверх желтого лица шевелились скатавшиеся волосы, а по бокам топырились уши, забытые серой сукровицей. Прошло много времени, прежде чем в этом потустороннем существе она узнала своего ненормального мужа, который рухнул на пороге, обхватив ее руками, и, уткнувшись в юбку, пускал слюни и бормотал о святой нерасторжимости брака. Тогда она утробно застонала и сказала — боже — и сказала — чтоб ты содох, сукин ты сын, — и опять сказала — боже. Она помогла ему подняться и завела в дом, где над сломанными табуретами, битыми бутылками, затоптанными старыми дагерротипами умерших в прошлом веке родственников, с гулом носились сотни зеленых и черных мух. Она сказала — боже, ой, боже — и сказала — боже, сделай меня вдовой — и сказала — чтоб ты содох, сукин ты, сукин ты сын. Примерно то же происходило в других домах поселка, где мужчин, выгашенных за уши из миазматического тумана, отмывали и одевали в чистое, забрасывали камнями проклятий и били по рожам, а все способное помутить рассудок, вплоть до прокисших яблок, было немедленно спрятано или беспощадно уничтожено, и по мере того как катились черные шары дней, женщины, вытеснившие хмельное зелье или заменившие его, заставили мужчин поверить, что они и есть та правда, которую мужчины упорно искали, валяясь под столом в собственной блевотине, среди плевков и замусоленных окурков; среди стущавшейся мглы на ничейной земле.

Бедолагин, не принимавший участия в играх, которые устраивали его сверстники, желавшие испытать судьбу, все более замыкался в себе, предпочитая внешней жизни внутреннюю, но все дороги, по которым он шел к призрачным целям, способным утолить жажду познания, были дорогами прочь. Они позвали его, когда он стоял в длинной голодной очереди перед одноэтажным дощатым бараком, куда завезли хлеб и мыло, и он пошел за ними. Они остановились у задней стены барака и, усмехаясь, указали на щель между покоробившимися досками и сказали ему — ну-ка, смотри. Он нагнулся и посмотрел в щель и увидел пыльный сумрачный магазинный склад, мешки с мукой, мешки с хлебом, а на мешках директор магазина задира л юбку продавщицы, опрокинув ее на спину, и ее сопротивление было равно сопротивлению воды по отношению к пловцу, который хочет плыть слишком быстро. Бедолагин не видел ее лица, но по содроганиям тела понял, что она смеется, а потом директор магазина растегнул штаны и полез на нее. Бедолагин вы-

прямился, а они смотрели на него усмехаясь. Один сказал — во подлюга, а?; другой сказал — если б их сейчас напугать, они б так и не расцепились, как собаки; третий сказал — как вагоны; возжак сказал — пусть он идет — и сказал Бедолагину — ты иди, а то он скоро с нее слезет, и она магазин откроет; другой сказал — еще немотришься, они всегда так.

Его привели в школу, пахнувшую лошаадьми, где между газетных строк он записывал то, что ему диктовали, а также пел в хоре под огромным портретом мужчины с прищуренными властными глазами. Учитель пения стучал линейкой, тяжелой, как шлагбаум, по черепам тех, кто не успевал захлопнуть пасть одновременно с теми, кто успевал.

Осенью их водили в палисадник, и они собирали павшую листву са-модельными деревянными граблями и метлами, сгребая в большие, рыхлые кучи, которые изо дня в день становились все больше и темней, а потом, когда деревья облетели и стояли голые, они поджигали листья, и до зимы их одежда пахла дымом и горечью.

В туманные дни подслеповатая женщина уходила в поле собирать колоски, рискуя попасть за решетку сроком на десять лет, и, в то время как она ползала на четвереньках по черной пашне, тронутой изморозью, Бедолагин прятался за железнодорожной насыпью и следил, чтобы не нагрязнул объездчик. Потом она подавала ему знак, и он шел вдоль насыпи до моста, и страх не давал ему замерзнуть, а под мостом они встречались, бледные и грязные, и она говорила — эх, гады, он говорил — ладно, она говорила — эх, гады — и говорила это до самого дома.

И всегда, где бы он ни был, в нем главенствовало стремление неподвижно стоять в стороне от мутного потока лет, где среди ила, обломанных веток, изношенной одежды, исковерканного оружия и обкатанных водой костей несутся к совершенству люди, — неподвижно стоять в стороне и давать им советы, обманув тень закона, которая падает на голову каждого с момента рождения.

Со временем его мысли и желания изменились, наполнив голову женщинами всех цветов — они любили его и звали, но дороги к ним он не знал. В надежде найти дорогу он слушал бабку, проживавшую на отшибе, которая нередко приходила к ним вечерами и, сидя за столом, раскачивалась на стуле, едва сохраняя равновесие, как пять лет назад на поминках однорукого мужчины, — и ему давно было ясно, что она пребывает на земле как оружие мертвых, и мертвые говорят ее устами, чтобы предостеречь живых в том, что при жизни остается неясным, — и она вещала силлым, надломленным, ледяным голосом, сквозь хрипы в груди и в горле, сквозь кашель, чихание и насморк — как поступить, чтобы не подохнуть с голоду — на ведро воды — говорила она — одну ложку отрубей, две кильки и лебеду — как не забеременеть, как принимать роды, чем кормить коз зимой, чем лечиться от туберкулеза и дизентерии. Бедолагин притворился спящим в тот вечер, когда Анну, двадцати пяти лет от роду, выгнали из дома за все безумные ночи, которые она проводила в коллекции своих мужчин, и она пришла к ним, застав бабу, под-

слеповатую женщину и французскую маркизу, эмигрировавшую из Франции в начале века, за разговором. Несколько позже бабка сказала ей — женщина, которая идет от меньшего к большему, а от большего к еще большему, в конце концов удовольствуется самым малым, потому что всегда найдется много такого, чего она не сможет вместить; Анна сказала — нет; подслеповатая женщина сказала — тише; бабка сказала — он спит; Анна сказала — он не спит; маркиза сказала — все женщины в двадцать пять лет падшие; бабка сказала — тот, кто велел нам быть, не простит; Анна сказала — никто нам быть не велел. Мы порождение взрыва.

Он спал, когда поздно вечером к ним в дом пришел вершить судьбу полковник теневых войск, рослый, угрюмый, немолодой мужчина, освобождавший поселок от немцев за год до того, как Бедолагин-младший был провозглашен Бедолагиным и узнал тяжесть фамильных и наследственных проклятий. Но это был уже не тот артиллерийский полковник, квартировавший в доме Бедолагиных, каким его помнили в поселке, и не тот, что выскочил на крыльцо с посеревшим от бессонной ярости лицом, когда в результате неправильной наводки три истребителя с красными точками звезд расстреливали освобожденный поселок и колонну его солдат вместе с лошадьми, повозками и пушками, и не тот, что протягивал огромные руки с растопыренными, скрюченными пальцами к небу и самолетам, точно хотел дотянуться, достать, стациить их оттуда и сломать об колено, — тот голосом, выворачивающим внутренности, орал — куда! Не стрелять! Ведь мы здесь! Это мы! Махать им флагом! — тот плакал, но продолжал орать и хрипеть, точно расстроенный инструмент во время настройки, и многие видели, как у того кровь хлынула горлом и он падал с крыльца, цепляясь за перила. Солдаты подняли того, положили в повозку, укрыли мешковиной и повезли воевать. Этот вернулся поздно вечером, через шесть лет и два месяца, оставив того в повозке, укрытого мешковиной, пропитанной трупной вонью, или на одном из витков спирали, которая вела его вверх и в тень, — больше проститутка, чем солдат, не видящий иного выхода, кроме женитьбы, не предсказуемый в поступках, с лицом, застывшим в параличе ответственности, — зашел в дом, когда Бедолагин спал, и сказал подслеповатой женщине, чтобы она собиралась, и сказал многое другое. Утром подслеповатая женщина сказала Бедолагину, что уезжает. Она говорила долго, глухим, мрачным голосом, звучащим неторопливо и размеренно, точно бой часов, тем самым голосом, которым обращалась к одному мужчине, сбросившему с себя бремя понимания. Бедолагин спросил — как он узнал, что ваш муж помер?; глядя в стену, она сказала — я писала ему — и сказала — он говорит, чтобы ты ехал с нами; он спросил — куда?; она сказала — в Москву; он сказал — я не поеду; она сказала — я так и знала. Вошел полковник и сказал, что пора ехать в город к нотариусу. Бедолагин сказал — уходите. Полковник молча вышел. Подслеповатая женщина сказала — ты сопляк; он сказал — это мой дом. Они

поехали в город, купили водки и пошли к нотариусу, где подслеповатая женщина оформила дарственную и кое-какие документы, согласно которым Бедолагин по достижении совершеннолетия вступал в права домовладельца, что должно было произойти через три месяца. Перед отъездом полковник сказал ему — что есть, рано или поздно перестает быть, и тогда на смену приходит что-то другое, но не всегда лучшее. Потом они уехали. И Бедолагин сделал то, что сделали калеки и контуженные, когда женщины, гонимые голодом, ушли по белой пыльной дороге и бесследно исчезли, растворившись в воздухе. В течение часа он сидел перед пустой пол-литровой бутылкой, думая об избавлении и тоскуя по теплу материнской утробы, потом, шатаясь и икая, вышел во двор, вознамерившись осмотреть самую легковесную и незначительную часть наследства, состоявшую из трех строений — дома с прилегающей к нему летней кухней, черного от дождей сарая, который, строго говоря, не был сараем, а был скорее навесом для дров и погреба; бродил между яблонь и слив, считал грядки, засаженные свеклой и картофелем. Шатнувшись в летнюю кухню на крысиный писк и перевернув там кастрюли, миски и жаровни, он увидел два вещмешка, оставленных полковником, в которых нашел десяток темно-зеленых жестяных банок с паштетом, плитки шоколада, галеты, банки с тушенкой, покрытые толстым слоем солидола, а кроме того, солдатское нижнее белье, офицерский бушлат, офицерские сапоги и новые обмотки.

Утром ему было плохо, как никогда, если не считать момента рождения. К нему пристала кошка, которая прожила в доме один день и одну ночь и ушла, оставив блох и кошачий запах. Он пошел к бабке, проживавшей на отшибе, и спросил — что делать, если в доме завелись блохи?; она сказала — нарви полыни и выложи ею пол — а потом сказала — не пускай в дом кошек. Он нарвал полыни и выложил ею пол.

Неделю спустя к нему пришла Анна и вошла в комнату, где среди высохшей полыни, противотанковых рвов, маскировочных сеток и баррикад, созданных его пьяным воображением, чтобы оградить дом от проникновения кошек, Бедолагин допивал предпоследнюю бутылку самогона из тех, что были в кладовке подслеповатой женщины и предназначались для бабки, проживавшей на отшибе, и для французской маркизы, эмигрировавшей из Франции в начале века. Он поднял голову и сквозь прозрачную непрошибаемую стену пьяного отчуждения увидел двадцатипятилетнюю женщину, которая подошла к нему по хрустящей полыни и, глядя в глаза, щелкнула пальцем по больному месту так, что он отскочил в угол. И тогда он почувствовал, что непрошибаемая, прозрачная стена, способная выдержать метеоритный дождь, трещит, рушится и рассыпается прахом от одного щелчка женских пальцев, оставив его, голого, незащищенного и жалкого, рухнувшего в грязный поток времени, где среди ила, обломанных веток, изношенной одежды, искорверканного оружия и обкатанных водой костей несутся к совершенству люди. Она сказала — меня выгнали из дома, — так она сказала, и поги-

бельная, демоническая улыбка играла у нее на губах; он сказал — ну; она сказала — хотела переночевать здесь — так она сказала; он сказал — послушай, шла бы...; она сказала — мне, ей-богу, негде ночевать — так она сказала; он сказал — ладно; она сказала — спасибо — так она сказала и захохотала; он посмотрел на нее и сказал — если ты еще раз засмеешься, я набью тебе морду, если ты полезешь ко мне ночью, я набью тебе морду, если в семь утра ты еще будешь в моем доме, я набью тебе морду — так он сказал, потому что ему не терпелось взяться за восстановление прозрачной непрошибаемой стены, которая рассыпалась от одного щелчка ее пальцев.

Разумеется, она пришла к нему ночью — он слышал, как хрустела полынь под ее босыми ногами, и вместо того чтобы набить ей морду, сказал — здесь блохи; она сказала — если блохи здесь, они везде; он сказал — они везде; она сказала — не беда — и спросила — сколько тебе лет? семнадцать?; он сказал — может, и пятьдесят, но они сказали, что семнадцать; она сказала нараспев — ну, хватит болтать. И она обрушила на него шквалы огня и вспышки беззвучных взрывов, каким не подвергался ни один новобранец, попавший на передовую, и ни один мертвец, попавший в печь крематория; ее губы, руки, грудь и ноги били током; она вызвала землетрясение и жгучий ветер, превратив тела в текущую раскаленную лаву, и слепящий свет чередовался с душной, липкой тьмой — она вертела им, как вздумается, а он решил, что так сотворилась вселенная.

Утром она ушла, а он смотрел ей вслед и думал — она вернется. Месяц он не убирал с пола высохшую полынь, рассчитывая проснуться ночью и услышать хрустящие шаги и увидеть погибельную улыбку в темноте ожидания. Потом полынь превратилась в труху, и он вынужден был ее вымести, потому что в доме завелись мыши, и мышиный шорох по ночам он часто принимал за легкую поступь босых женских ног. Вскоре со всем поселком он узнал, что Анна уехала в город с высоким, красивым мужчиной. Однако новость эта лишь в малой степени пошатнула веру Бедолагина в ее возвращение. Пропалывая запущенный огород и удобряя грядки сухим навозом, он бормотал себе под нос — что такое город, и какая сволочь его построила. Но через полтора года, в течение которых он сохранял надежду, настал день, когда, стоя в саду с топором в руках и глядя на свой дом, согретый теплом пепельной веры, он испытал желание изуродовать, изничтожить, сокрушить, и в тот день, выронив из рук гвозди, он сказал — я просто дурак, а она поганая б...

Стремясь к неподвижности и безмолвию, он начертил неукоснительно прямую линию к кресту, исключавшую всякие заходы в светлые гавани, и, как следствие этого, вновь возникла стена между ним и миром. Обманчивая иллюзия непричастности ко времени завладела его воображением, и та же сила, которая вела каждую клетку организма однорукого мужчины к уничтожению и смерти, бродила в его крови, двига-

ла руками, ногами и шеей, сушила глотку и питала зрение беспросветной ясностью. Если он напивался дома, его никто не видел, но, если он напивался в саду, многие видели его и видели неукоснительно прямую линию его пути, которая только со стороны казалась кривой и запутанной, и видели, как он валялся в лужах под откосом или пахал головой грязь в сточных канавах, откуда торчала его напряженная задница. Беременная кошка, перескочив противотанковые рвы, преодолев баррикады, разгадав назначение маскировочных сеток, явилась ему во сне, вцепившись иглами зубов в мошонку, и весь путь, который был проделан к пустырю проуждения, он окалывал ею столбы; следующей ночью змея укусила его в ладонь, которую он поднял над толпой людей, повелевая встать на колени, и ладонь пала на толпу, раздавив ее тяжестью внезапной опухоли.

Бабка, проживавшая на отшибе, собрав в горстку отказывающиеся повиноваться пальцы, написала письмо подслеповатой женщине, в котором настаивала на ее приезде, однако подслеповатая женщина не смогла приехать по причине какой-то болезни.

Приехал полковник. Но это был уже не тот полковник, который когда-то воевал, и не тот, что приезжал в поселок, чтобы увезти подслеповатую женщину и водрузить ей на голову свадебный венок, пригнувший ее к земле. Окончательно отяжелевший, точно наполовину связанный, с трудом тащивший тело, как лошадь, тащившая повозку с тем, другим, укрытым мешковиной, пропитанной трупной вонью, он двигался по комнате, и его лицо, темное, как тайна, изредка раскалывала надвое резкая улыбка, что случалось каждый раз, когда он неожиданно вспоминал об этикете. Полковник достал из чемодана бутылку водки и несколько банок консервов; полковник откупорил водку и консервы, они выпили водку, полковник дал своему шоферу денег, и шофер привез еще три бутылки; они сидели за столом, а шофер спал в машине; полковник курил, стряхивая пепел в позеленевшую гильзу от патрона крупнокалиберного пулемета. Полковник сказал, что подслеповатая женщина приедет, как только поднимется на ноги, и сказал — она очень скучает: Бедолагин сказал — передайте ей, что я тоже очень скучаю. Бедолагин смотрел на полковника и чувствовал, как свет и рисунок мира рассыпается на атомы, и звуки рассыпаются в воздухе, и голос полковника был точно шорох песка. А потом полковник встал, надел шинель, а Бедолагин сидел за столом, и полковник сказал, чтобы он его не провожал и чтобы ложился спать, и грузно, прилагая, казалось, невероятные усилия, двинулся из дома, не задерживаясь ни в дверях, ни на крыльце, откуда падал семь лет назад, изрыгая глоткой хрип и кровь.

Учитывая то, что говорил полковник теневых войск о прожиточном минимуме, а также то, что внезапное и одиночество стоит денег, Бедолагин после некоторых раздумий устроился на работу в родильное отделение красной кирпичной больницы неподалеку от леса, где два месяца и четыре дня, стиснув зубы и залепив оконной замазкой ноздри, молча

таскал через затененный двор скрипящую, гнилую тележку с простынями и наволочками из-под рожениц, поощряемых послевоенным правительством. В прачечной, расположенной в подвале невысокого серого строения в пятидесяти метрах от морга, он выкладывал на пол тюк грязного белья, развязывал пододеяльник, поднимал каждую простыню двумя пальцами, в слух считал и бросал к ногам сухощавого, гнущего в позвоночнике мужчины, который настолько равнодушно относился к раздающей сознание вони, точно изо дня в день лазал жить туда, откуда появился на свет. Вечером сестра-хозяйка наливала Бедолагину полстакана спирта, а он говорил ей — жить надо не так и не там. В конце июля, считая простыни перед равнодушным гнущим мужчиной, он сказал — это моя последняя тележка; гнущий мужчина ухмыльнулся, запахнул простыни и наволочки в пододеяльник, взвалил на плечо и потащил к прачке. Бедолагин вышел на улицу и долго шел по поселку, стиснув зубы, с замазкой в ноздрях, потом вытащил замазку, перелез забор чужого сада и молча упал в клумбу роз.

Его пребывание в качестве проводника железнодорожного товарного состава продлилось еще меньше, чем пребывание в качестве разнорабочего при родильном отделении красной кирпичной больницы, и исчислялось теми семнадцатью сутками, которые потребовались на езду до Ростова и обратно, потому что в первую же ночь его напарник предложил ему стать женщиной, только задом наперед, и семнадцать суток он не расставался с разводным ключом, задумав убийство, не желая быть ни мужчиной, ни женщиной, костеней в безмолвной ярости, точно ракушка, все еще преследуемый неумолимым запахом зарождающейся жизни.

И он вернулся в холодный дом, твердо решив избавиться от свидетелей своей жизни, запершись в четырех стенах, к двадцати годам потерпевший и осознавший поражение, картины которого, по словам бабки, проживавшей на отшибе, являлись ей по утрам, заштрихованные оранжевой паутиной спазмов, но сливались воседино и таяли благодаря молитвам, причитаниям и ворожбе, и он увидел, что сарай для дров почти пуст, а те щепки, что разбросаны по углам, и сучковатые поленья, не поддававшиеся топору, насквозь пропитаны влагой осенних дождей, издолбивших старый, тонкий толь крыши, смывших с навеса водостойкую смолу, и, стоя в саду под черной яблоней, чьи корни оплели могилу его надежд, он почувствовал, что и через сто лет снова и снова будет приходить в поселок двенадцатилетним мальчишкой, бесконечный в своем повторении, стремящийся истереться в порошок в своем движении по желобу внутреннего пояса, холодной осенью со стороны поля, так что река всегда будет по левую сторону, а лес по правую, и босые ноги, нечувствительные к острым камням и битому стеклу, будут чувствовать неизменный холод земли.

И он пошел к бабке, проживавшей на отшибе, и спросил — как и кем жить? Но каждую осень мозг бабки превращался в сухой лед,

сердце билось раз в день, язык не ворочался, забытый мертвыми, и ручьи света из окна вливались в душу через сетки глаз, и все, кроме света, было для этих глаз сором. Маркиза, эмигрировавшая из Франции в начале века, так же, как бабка, проживавшая на отшибе, не давала советы осенью, но подсказала ему устроиться истопником при школе — потому что — сказала она — скоро зима — и сказала — время жечь деревья; то же самое сказал ему отец Анны, которому он помог спилить разросшуюся вербу в палисаднике, и он сказал — хорошо — а потом спросил — пишет ли домой Анна?; отец Анны косо посмотрел на него и сказал, что пишет, и спросил — а что?; он сказал — ничего — и спросил — приедет она в поселок?; отец Анны сказал — нет; он спросил — почему?; отец Анны сказал — потому что я ее убью.

В конце сентября он пришел к директору школы и сказал, что готов работать истопником в котельной; директор школы спросил, согласен ли он работать ночью; он сказал, что согласен. Посланный директором в северное крыло здания, он спустился по ступенькам в подвал и, оказавшись в тесном, душноватом помещении, увидел длинную, прокопченную лавку, покосившийся черный стол, открытую чугунную топку и заслонку, державшуюся на одной петле, большой котел и ржавые трубы, по которым циркулировал горячий пар; один угол котельной был отгорожен тремя широкими досками, державшимися за счет вбитых в землю кольев, а за ними на куче угля валялись совковые лопаты и черные измятые ведра, а в стене на уровне головы был вбит железнодорожный костыль, на котором висела керосиновая лампа, опутанная медной проволокой, позеленевшей от сырости, и на короткий миг, глядя в огонь, он почувствовал, что достиг конечной цели своего пути. На лавке сидел рыжеволосый чумазый мужчина. Его могучие плечи занимали все пространство от чугунной топки до противоположной стены и выглядели гораздо шире длины стола, и казалось, что здание, слившись с окаменевшей темнотой за его спиной, лежит у него на плечах, и, если ему вздумается подняться, вместе с ним поднимется вся школа, сорванная с фундамента; когда в котельную вошел Бедолагин, лицо с крупным носом, сжатыми тисками губ и массивным подбородком, выпирающим, точно у жующего быка, не нарушило ни одно движение, словно кора угольной пыли и копоты намертво сковала мышечные нервы лба, щек и губ. Глаза на долю секунды уперлись в Бедолагина, а потом взор потек вдаль, как если бы в реку бросили булыжник, надеясь преградить ей путь в океан. Бедолагин долго стоял перед ним не в состоянии определить, то ли он смертельно пьян, то ли поражен крайней летаргией, и уже намеревался уйти, как вдруг подбородок рыжеволосого мужчины дрогнул, точно отслоился пласт породы, под воздействием внутреннего толчка с лица исчезла неподвижность, и казалось, оно неминуемо рассыплется черными камнями, как стена дома от удара изнутри, и сквозь отчетливый гул крови в ушах Бедолагин услышал голос, исполненный

ненавистью к самому себе — видал ты когда-нибудь шесть пальцев на одной ноге?

И впоследствии, когда осенними вечерами они сидели на длинной прокопченной лавке, цветные в бликах огня перед открытой чугунной топкой, он так и не сказал Бедолагину, что испытывает боль или страдает от неполноценности, что было бы вполне естественно, будь у него четыре пальца вместо положенных богом пяти; обладая звериной непримиримостью и чудовищной силой, часто служившей доказательством его правоты, он наотрез отказывался принимать себя за уродливое порождение мира, в глубине души сознавая, что это унижает человека, а вовсе не оправдывает его, как полагал Бедолагин. Год назад, в то время как шестой палец лишь намечался бледным бугорком сбоку от большого пальца левой ноги, а доктор из красной кирпичной больницы сказал, что это мозоль, и прописал обувь посвободней, бабка, проживавшая на отшибе, посоветовала вспомнить ему все свои грехи и покаяться — а если это не поможет — сказала она язвительно — возблаговари господу Бога за то, что рог вырос у тебя на ноге, а не на лбу — намекнув, таким образом, что ему изменяли женщины, чем привела его в страшную ярость, под воздействием которой он снял перед ней штаны и попросил объяснить, что еще нужно треклятым бабам, после чего бабка смогла закрыть рот лишь три часа спустя, предварительно уколов себя иголкой в ухо, чтобы унять судорогу в скулах. Однако слова бабки, несмотря на очевидную их нелепость, прочно засели у него в голове, и с тем же угрюмым остервенением, с каким он искал способы избавиться от шестого пальца, он принялся искать причину его появления.

Движимый сочувствием и страхом, Бедолагин ходил в больницу, где просил, чтобы Клишину отрезали палец, который являлся лишним по законам божественным и социалистическим, пока тот не свихнулся и не начал убивать докторов, но ему сказали, что, раз на одной ноге вырос шестой палец, того требовал организм и что ни один доктор не ампутирует здоровый палец, будь он хоть девятым. Для Клишина все это оказалось последней каплей, испив которую он окончательно замкнулся в себе, вынашивая в голове бомбу, и его лицо под корой угольной пыли и копоти стало похоже на лицо полковника тeneвых войск, как похожи лица людей, обремененных тайной. В один из пасмурных холодных дней октября Бедолагин пришел в котельную раньше и столкнулся с Клишиным на ступеньках в подвал. Они вышли на улицу, и по его глазам, застанным дымом, Бедолагин понял, что бомба взорвалась. Сжимая в кулаке отточенную стамеску и кувалду, Клишин размеренно зашагал по направлению к больнице, кратчайшим путем, по компасу мести, стрелка которого маячила у него перед глазами долгий бессонный год. И за весь путь от школы до больницы он не проронил ни слова, молча зашел в больницу, прошел по коридору между скамеек перед кабинетом хирурга и так же молча зашел в кабинет, оставив дверь открытой. Не глядя на хирурга, молодую сестру и вечно смеющегося старика, на-

ступившего на гвоздь, он придвинул к себе деревянный табурет, снял с левой ноги ботинок, размотал обмотки, поставил ногу на табурет, быстрым, размеренным движением приставил отточенный конец стамески к основанию шестого пальца и, прежде чем раздался истошный крик хирурга, прежде чем молодую сестру сорвало с места и вынесло в коридор, коротко размахнувшись и с силой ударил кувалдой по черенку стамески. Тогда он медленно опустился на табурет, выронив из рук инструменты, победивший себя, потому что воевал с собой, как с врагом, превратив свою послевоенную жизнь в неумолимое, целеустремленное саморазрушение, вызванное отсутствием врага, все еще не понимая причин появления шестого пальца, но уже смутно чувствуя, что наточил стамеску для того, чтобы отрубить смысл своей жизни последнего года.

Отрубленный шестой палец явился в поселке самым наглым и безбожным событием года и, несмотря на то, что бабка, проживавшая на отшибе, крайне отрицательно отнеслась к поступку Клишина, чем основательно подорвала свой авторитет, который считала непререкаемым, несмотря на то, что многие женщины запретили своим детям подходить к Клишину, дабы он не посоветовал им вырезать желудок, когда нечего будет есть, большинство людей усмотрели в его поступке торжество человеческого духа над физической болью, а слова бабки о том, что подобный взгляд на вещи неминуемо приведет к восхищению членовредителем и самоубийцей, были утоплены в глубоком море недоверия, на дне которого покоились проекты полетов на Луну, физико-математические формулы расщепления атома, а также материалы, касающиеся генетической наследственности; кроме того, прошел слух, что в далеком городе, где полковник водил в атаку теневые войска против носителей идеи Кесаря, отец внимательной экономки, олицетворявший собой умыгую и почистившую зубы Россию, с трибуны вещал, что именно при помощи стамески и кувалды следует расправляться с неугодными пальцами на плоскостопых ногах государственных долгов.

Между тем художник Пал, пустивший этот слух, стоял на базаре в потрепанной широкополой коричневой шляпе, из-под которой торчали редкие, давно не стриженные русые волосы, среди пронзительного ветра людских голосов, заматавшего поднятой пылью безмолвие аккумулятивно разложенных кукурузных початков, носков, ниток и патефонных игл, выставив на фанере маленькие яркие натюрморты с нежными весенними цветами, красочные рисунки коленопреклоненных кавалеров и стройных дам в белых балльных платьях, и укоризненный взгляд его влажных, бархатных глаз скользил по толпе, а бледное худое лицо, оставшееся лицом обиженного пятнадцатилетнего мальчика, готового в любую секунду расплакаться, даже тогда, когда ему стукнуло тридцать, было запрокинуто в немом укоре полутораметровому росту, так что гладкий, острый, безволосый подбородок торчал, точно карниз над тонкой белой шейей, исчезавшей за поднятым воротником длинного, изъеденного молью пальто, полы которого почти тащились по земле, когда

он шел, придавая неприкаянный, беспризорный, слезно-обиженный вид его тоненькой, угловатой фигуре. Он не слышал людей, которые здоровались с ним, не имея намерения купить его рисунки, слышал, но не понимал и не мог бы повторить призывных и возмущенных криков, присутствовавших в его сознании тем вечным, протяжным гулом, с каким в мире, лишённом абсолютной тишины, ветер метет сор и грехи, не замечал, как поднятая пыль оседает на голубые цветы его натюрмортов, погруженный в глубокие раздумья, осторожно ступая в зыбких песках коммерческих расчетов, выискивая путь к обогащению, единый с путем растраты, немо обратив взгляд поверх прыгающих, плывущих, кивающих голов. Но в какое-то мгновение все это кончилось, и никто не увидел, как его бледное худое лицо исказила гримаса ярости, а в следующую секунду фанера, на которой были выставлены рисунки, с треском опрокинулась от удара ноги, стремительно вылетевшей из-под взметнувшегося пальто. Торговец слева неловко, грузно отшатнулся в сторону, ожидая увидеть блеск ножа, который неизменно появлялся в руке художника Пала в минуты неукротимого бешенства, а крупная, большегрудая женщина тяжело присела, расставив огромные колени, чтобы подобрать рисунок, упавший у ее ног, но художник Пал сдавленным, шипящим голосом сказал — не трожь — и сказал — не трожь, говорю, сука драная, — а потом сказал — еще успеешь, как уйду, а щас не трожь. Потом его губы обиженно изогнулись, лицо запрокинулось, и они смотрели, как он повернулся к ним спиной и молча побрел в поселок, путаясь худыми ногами в пыльных, потрепанных полах длинного пальто, все так же запрокинув голову, точно нес на лбу чашу со своим сердцем.

Художник Пал никому ничего не сказал в тот день, когда, спустившись в школьную котельную, чтобы не брести бесконечно, увидел в Бедолагине источник обогащения, и в голове у него зародились некие мысли, и никому ничего не говорил очень долго, даже когда эти мысли обрели достаточно твердую основу вследствие расчетов и проверок, которые он произвел, отчасти чтобы увериться в своих художественных способностях, отчасти чтобы его труды не пропали даром. Он пошел в соседний поселок, где находилась действующая церковь, пострадавшая во время войны и мало-помалу восстановленная людьми, оглохшими от ночного рева совести, отчаянно нуждавшимися в прощении и вобретении родства. Но если люди смогли забить пробоины от снарядов камнями и кирпичом, укрепить оползни, засыпать близкие воронки, замазать глиной северную стену, искрошенную пулями, а также привести в порядок небольшой зал и прихожую, где торговали маленькими крестами и нашейными иконами величиной со спичечный коробок, то они не могли написать полотна с ликами святых, увезенных, сожженных и просто простреленных солдатами обеих армий. Таким образом, все, что делает церковь церковью внутри, отсутствовало почти начисто, а если не отсутствовало, то было заменено грубыми поделками, которые среди нескольких уцелевших икон с ликами, простреленными пулями, внуша-

ли тревогу и опасения тем, кто шел в надежде примириться с совестью и обрести Бога. И они останавливались посреди холодной, аккуратно прибранной церковной залы, мельчайшие частицы пыли которой хранили призрачную картину смертельного боя многолетней давности, слышали стрельбу и крики, все еще звучавшие в звоне колоколов сверху, видели не тронутые сквозняком сгустки времени по темным углам, хранившие сам миг убийства, чувствовали сухой запах пороха и мышинового помета в неподвижном воздухе, при том, что всем им было известно, что каждый запах в церкви имеет свой тайный смысл, определяющий смысл самого бытия, — и молились, обращая свои молитвы тому, у кого был продырявлен высокий белый лоб, или тому, кто смотрел на них одним глазом и дырой на месте второго. И тогда художник Пал, не умевший и не желавший уметь изображать на бумаге человеческие лица, которые стоили, по его мнению, гораздо дешевле затраченных трудов, но увидевший в лице Бедолагина некую мертвенную, церковную покорность, всепрощающее смирение и знамение неизбежного краха в глазах, доставшееся тому в наследство вместе с домом, сараем для дров и погребом у черной яблони, вместе с женщиной, пришедшей один раз, и с нами, в которых беременная кошка висит на нем, вцепившись иглами зубов в мошонку, наконец, вместе с самим лицом, притягивающим, точно магнит, ложь и грехи мира, предложил свои услуги церкви. Прежде чем установить цену, он договорился с церковниками насчет холстов и красок, а также попросил временно забрать уцелевшие рамы икон, покрытые потрескавшимся лаком, с тем чтобы самому вставлять в них готовые холсты, потому что понимал — как бы хорошо ни разрисовать холст, он всегда будет выглядеть лучше в старинной раме, чем свернутым, а затем развернутым для обозрения. Получив согласие, он установил цену, которая была ни малой и ни большой, а скорее пробной. Потом он притащил холсты, рамы и краски к себе домой и, сидя в комнате спиной к окну и свету, марал бумагу в течение трех дней, перво-наперво изображая на очередном листе желтый нимб, который, по его мнению, должен был заранее придать загадочную, покорную мудрость лицу, испокон веков существовавшему под нимбом, а также заранее пресечь черты порока и суеты в его живописи. И когда на исходе третьего дня, разглядывая последнее свое творение, остался доволен, он сделал то, что не должен был делать и никогда не сделал бы, будь он историком или политиком, а именно — замазал, убрал нимб и, первый раз взглянув на изображенное лицо, лишенное золотого нимба, почувствовал, как мозг наливается густым соком ярости, а руки точно распадаются от бессилия в тщетном нашаривании ножа. Но потом, когда приступ бешенства прошел, он понял, что это неважно, и на четвертый день, явившись в школьную котельную, выложил Клишину и Бедолагину все, что было у него на уме, пообещав им половину от всей выручки на двоих. А потом, сидя в комнате спиной к окну и свету, поставив перед собой мольберт, сколоченный из кривых реек, он сказал Бедолаги-

ну — думай о том, что у тебя было, а сейчас нет — и Бедолагин думал о той могиле надежд, которую оплели корни черной яблони и над которой он стоял в преддверии осени, уже после того, как ему предложили стать женщиной задом наперед, подвинув на убийство, которое так и не было совершено, но до того, как он избавился от запаха зарождающейся жизни, вытеснив его запахом гари.

Потом стемнело, художник Пал закончил работу, и Бедолагин пошел домой. И как только среди домов поселка показался его дом, он увидел сквозь стены тень и подумал, что в доме кто-то есть. Почти уверенный в своей способности видеть сквозь стены, он вошел во двор, поднялся по ступенькам крыльца, открыл дверь, прошел сени, пахнущие кирзовыми сапогами, потом и плесенью, и в комнате у окна увидел Анну. Он молча стоял в дверном проеме, непобедимо мертвый, и его тяжелые, безвольные руки болтались где-то внизу, утратившие силу, кровь и крепость костей, точно мокрые канаты, и она казалась ему более нереальной, чем та, что шла ночами по высохшей пыли в желаниях и снах, но теперь она была ему не нужна. И как только он понял, что она действительно вернулась и что ее тень он видел сквозь стены дома, точно сквозь тонкие занавески на свету, и что именно она стоит сейчас у окна, все такая же, только похудевшая, осунувшаяся, болезненно красивая, но, как всегда, готовая завоевывать крепости, крушить бастионы силой своей слабости, разбивать ворота, взламывать замки, выжигать мозги своей хрупкой худобой, готовая взорвать мир, чтобы воссоздать все с самого начала и вновь начать жить, но мудро и безошибочно, он сказал — проваливай — и сказал еще раз — проваливай — твердо зная, что будет помнить об ее приезде лишь до тех пор, пока не заснет, а завтра забудет, так что ему заново придется увидеть ее утром и сказать то, что он сказал сегодня. Но, проснувшись, он отчетливо помнил, что Анна была в доме, помнил в первую секунду пробуждения, еще не заметив, что она стянула с него грязные сапоги и рабочую куртку, провонявшую гарью. Она сидела за столом и смотрела на него, а потом, когда он встал, надел вычищенные сапоги и куртку, она без всякого выражения сказала — к тебе приходили твои друзья — и сказала — того художника я знаю — он сумасшедший — потом, медленно, не обращая внимания на его утрюмое молчание, проговорила — я сказала им, что здесь нечего делать всяким подонкам. Он посмотрел на нее хмурым, отсутствующим взглядом, догадываясь, что она сказала это неспроста, видимо, рассчитывая на вспышку злости, приготовившись выдержать проклятье и побои, и вдруг, глядя на ее белое, напряженное лицо, застывшее в больших, широко раскрытых глазах желание быть наказанной, но не за последние свои слова, а за то, что ушла от него когда-то с другим мужчиной, он подумал, что не нужно ему поднимать на нее руку, потому что рука ее отца давно вознесена и ждет лишь появления, чтобы вышибить из нее дух.

Но отец Анны даже не поднялся с полена, когда Бедолагин сказал ему о ее возвращении, сидел, сторбившись, свирепо лузгая большие семечки, подобрав под себя кривые, короткие ноги, предназначенные не для того, чтобы ходить, а для того, чтобы сжимать бока лошади, а потом холодно сказал — ну и что? — и сказал — ну вернулась — а потом невозмутимо сказал — ну дай ей в морду, скажи, отец велел. Бедолагин повернулся, чтобы уйти, но отец Анны сказал — стой — и сказал — погоди — а потом сказал — пойдем в дом выпьем водки. Они выпили водки и выпили подкрашенного линияющей травой самогона, и тогда отец Анны сказал — сделай ей ребенка — и сказал — сделай, говорю; Бедолагин сказал — ладно; отец Анны нахмурил густые, выгоревшие брови и сказал — сделай; Бедолагин сказал — да — и сказал — сделаю — и сказал — обязательно — а потом сказал — одного, двух, трех, четырех ребенок; отец Анны спросил — ты что мелешь?; Бедолагин сказал — двадцать, тридцать, сорок ребенок, сто ребенок, пока она не заорет, что хватит; отец Анны усмехнулся и сказал — не заорет; Бедолагин сказал — заорет; отец Анны сказал — нет — и спросил — знаешь почему? Бедолагин сказал — почему?; отец Анны сказал — не будет у нее детей — и сказал — совсем; Бедолагин спросил — почему?; отец Анны сказал — спроси у нее — и сказал — она тебе скажет; Бедолагин сказал — ладно — и сказал — хорошо — а потом сказал — знаешь, зачем я к тебе пришел?; отец Анны сказал — знаю; Бедолагин сказал — нет, не знаешь; отец Анны спросил — зачем?; Бедолагин встал и сказал — чтобы ты пошел и убил ее. Потом он ушел.

И Анна взялась за него, отбросив женские ужимки, подходы исподволь, зондирования почвы, взялась не постепенно, не незаметно, а сразу, точно иначе и быть не могло, точно уезжала в город по обоюдному согласию, с тем чтобы вернуться в назначенное время, и это время пришло — не стараясь сказать лишнее, не стараясь умолчать, когда это было необходимо, — появилась в доме наперсницей судьбы; ввела нечто вроде ритуальных разговоров за завтраком, обедом и ужином, если Бедолагин был дома, словно все было давно решено и обговорено еще тогда, когда они были детьми, и говорить больше не о чем. Она написала письмо подслеповой женщине, поинтересовавшись ее здоровьем, и послала ей поздравительную открытку к Ноябрьским праздникам, подписав именем Бедолагина и своим; она не пускала на порог Клишина и художника Пала, определив источник зла, и говорила, чтобы они катились к чертовой матери; она устроилась на работу в местное отделение связи и разносила письма и газеты, а когда ее отец сказал, что она нанялась почтальоном только затем, чтобы перехватывать письма, адресованные ей городским кобелем, она сказала, чтобы он не лез не в свое дело. Она запаслась несокрушимым терпением и упрямством, перед которым упрямство Клишина выглядело как упрямство капризного ребенка, не желавшего мочиться на горшке; приняв панцирь смерти за панцирь льда, вооружилась подобием бура, вознамерившись просверлить

дорогу к сердцу любой ценой, даже если придется сломать ребра. И была обманута — обманута тем молчаливым, спокойным согласием, с каким он делил с ней постель, той молчаливой невозмутимостью, с какой он воспринимал все, что бы она ни сказала, тем голосом, каким он здоровался с ней и прощался, потому что прошло слишком мало времени, чтобы она могла понять, а затем поверить бесповоротно, что нет и не было средства прошибить глухую тишину его сердца. А пока она жила, отказываясь верить, что времена переменялись, не стараясь оправдать, обелить себя, похоронив свое прошлое так глубоко, как не хоронили ни одного мертвеца, но и не делая вид, что родилась неделя назад, потому что должна была пускаться в ход опыт, накопленный в жизни; не скрывала от людей своих намерений и дерзко, с угрозой говорила — да — говорила она — мне нужен муж — и говорила — попробуйте отберите его у меня — и глаза ее на тонком, красивом лице блестели так, точно она уже шла против всего мира, сжав худыми, почти прозрачными руками испачканные навозом вилы.

Художник Пал написал три холста за очень короткий срок; он давал Бедолагину осколок зеркала, и Бедолагин смотрел в осколок, а потом смотрел на холст и видел удивительное, а порой удручающее сходство; запоминал свое лицо, которое видел в зеркале лишь единственный раз, сразу после войны, когда ему едва минуло четырнадцать лет, и давно забыл. Художник Пал, однако, понимал, что холсты написаны плохо, но говорил, что они написаны лучше тех, что висят в церкви. Он отнес холсты в церковь один за другим, с интервалом в пять дней, а когда церковники, крайне удивленные, спросили, сколько времени он тратит на один холст, он ответил, что над эскизами работал в течение года, а холсты пишет при помощи логарифмической линейки, чем основательно сбил их с толку. Потом он начал писать четвертый и последний из заказанных холстов, но так и не закончил, а причиной тому был Бедолагин, чья неспособность совладать с темной силой наследственно отравленной крови, полностью подчинившей его мозг, делала его невменяемым в часы пьяного одурения, толкала на поступки, пагубные последствия которых он мог бы предугадать ребенком, но не сейчас, когда ему было запрещено предугадывать, а было велено действовать. И через два дня, после того как художник Пал продал церкви третий холст, вставленный в старинную раму, и работал над четвертым, Бедолагин, пьяный как свинья, вышел из котельной и пошел в церковь соседнего поселка по широкой размытой дождями дороге; падал и вставал, не чувствуя ног, но чувствуя медленные плавные падения и мягкую, скользкую землю, а тело, утратившее способность к боли, переворачивалось, поднималось и выпрямлялось вновь, подчиняясь той же силе, которая вела каждую клетку организма однорукого мужчины к уничтожению и смерти. И он зашел в церковь среди бела дня, мертвецки пьяный, в грязной, мокрой куртке и в хлюпающих сапогах, покрытых жидкой грязью. Тяжело волоча ноги, он прошел в церковную залу и остановился там, придерживаясь ру-

кой за стену, и смотрел на холсты художника Пала в старых рамах мутными, мертвыми, немигающими глазами, узнавая себя, и лишь через пять минут, ни разу не сморгнув, он посмотрел вокруг себя, потому что услышал, казалось, далекий, мерно нарастающий шум, и шум стих, и увидел людей, скованных оцепенением. Он молча смотрел на них, и губы их беззвучно шевелились, произнося слова, но можно было кричать, биться в истерике, буйствовать — все это без следа, не дав сложиться в живой звук, поглотило бы безмолвие, всего этого никто бы не заметил, потому что нечто, замеченное прежде, погрузило людей в спасительное забытие, единственно способное сохранить им разум. И тогда Бедолагин медленно поднял руку с вытянутым указательным пальцем, и рука замерла в воздухе, когда палец был направлен на одну из икон, а потом рука двинулась в сторону, указывая на две следующие, и он спокойно, негромко, но отчетливо сказал — снимите это — все так же придерживаясь стенки, сказал — снимите, — а потом, тяжело передвигая ноги, вышел из церкви, а рука все еще висела в церкви и висела до тех пор, пока иконы, на которые она указывала, не были сняты.

По той же размытой дорожке, падая и поднимаясь, он добрался домой и, не глядя на Анну, повалился на кровать в мокрой грязной куртке и в сапогах и проспал остаток дня и всю ночь, а проснулся уже без куртки и без сапог. Надел еще сырые вычищенные сапоги и вышел на порог.

Анна стояла посреди двора, поставив на землю облезлую немецкую канистру, наполненную керосином, с палкой в худой, почти прозрачной руке, и ее глаза на бледном тонком лице блестили отчаянием и злостью, и с порога дома Бедолагин услышал, как она кричит — катитесь отсюда к чертовой матери, сволочи проклятые, катитесь отсюда — и он увидел, что они стоят у калитки забора уже во дворе, и увидел, как художник Пал знакомым всему поселку движением, которое невозможно уловить, как невозможно уловить разлет концов туго натянутого и вдруг разрубленного каната, выхватил нож из кармана длинного, узкого пальто, когда Анна подняла палку над головой и пошла на них, решив, видно, умереть или отдохнуть от всего этого, лежа в больнице с распоротым животом, который она не берегла с тех пор, как узнала, что не сможет иметь детей. И тогда художник Пал встал перед необходимостью убить человека; растерянность, вызванную неверием в то, что кто-либо рискнет пойти на него при ноже, ему, однако, удалось быстро преодолеть, потому что он понял, что именно так, а не иначе совершалось убийство со времен зарождения жизни, и понял, что если уж он взял в привычку при каждом неверном слове со стороны выхватывать нож в тщетном стремлении быть выше ростом, то рано или поздно его придется пустить в ход. Анна все видела, и все поняла по его глазам, и, приостановившись на секунду, вновь пошла на него; и хотела что-то сказать, но не смогла, испытывая отчаяние и любопытство, как перед первой физической близостью с мужчиной, очень давно, в тот единственный раз, когда это действительно что-то значило. И тогда Бедолагин бросился к ним

с крыльца, разинув рот в беззвучном крике, и, споткнувшись, растянулся посреди двора. Тогда Клишин шагнул навстречу Анне, и она с размаху ударила его, но он подставил руку и, вырвав у нее палку, отбросил в сторону. Потом он медленно повернулся к художнику Палу, который молча ждал Анну, то и дело перехватывая тонкими пальцами рукоятку ножа, сощурил один глаз и глухо, спокойно сказал — ты и вправду решил ее прикончить — и помолчав, вкрадчиво спросил — да? тихим, шипящим голосом Пал сказал — да, решил — и сказал — ни одной стерве не позволю на меня орать — а потом сказал — не суйся. Он упрямо посмотрел в лицо Клишина и вдруг увидел то, что всегда было скрыто под корой угольной пыли и копоти, увидел не лицо, а застывшую на полпути лавину черных камней, остановленную и замороженную силой воли, увидел человека, которому не может что-то нравиться или не нравиться, раздражать или оставлять равнодушным, огорчать или веселить, увидел человека, способного лишь любить или ненавидеть без исключения, душу, сотканную из двух, а не из сотни чувств, жизнь, состоящую единственно из молчаливой любви и молчаливой ненависти, — цельную, без какой-либо цели, бесповоротную даже в поворотах, созданную в крайности и питаемую крайностью. И в оцепенении он позволил жестким пальцам Клишина вырвать у него нож и метался в душе не в силах пошевелиться, и, наконец, когда подвижность вернулась к нему, он хотел ударить Клишина, но даже не достал до его лица, а потом он с яростью бросился на него, но это было все равно что таранить соломинкой чугунные ворота, и когда кулак Клишина с хрустом столкнулся с его головой, как если бы пролетающий самолет задел его крылом, Пал, предугадав этот миг, успел подумать, что лучше уж так, чем снова и снова бросаться на него без всякой надежды. И тогда Клишин, не проронив ни слова, ни на кого не глядя, нагнулся, поднял, взвалил на плечо художника Пала и молча, ни на кого не глядя, пронес его через весь поселок, даже не хромая, шагая так же легко и сосредоточенно, как в тот раз, когда шел в больницу, чтобы отрубить шестой палец, и бросил его лишь в доме, в углу комнаты, где стоял мольберт, сколоченный из кривых реек, с недохонченным лицом Бедолагина на холсте, которое уже не нужно было заканчивать, потому что невозможно было продать.

В конце ноября у Анны не пришли месячные. В течение двух недель она ходила по дому и делала все, что делала всегда, словно ничего не произошло. Она говорила себе — я не изменилась — говорила себе — ничего не изменилось. Она говорила себе — почему они сказали, что это невозможно — говорила — почему он, не способный ни на что, сделал то, что никто не мог сделать. А потом говорила — мало ли почему они могли пропасть — выискивая причины тайного предупреждения, суеверно отгоняя надежду, точно одно ее появление сулило безнадежность и неверие до земли. И две недели прошли словно глубоко под водой, притупив прежнюю быстроту ее движений, но наделив слухом ле-

тучей мыши не для того, чтобы спастись, а для того, чтобы слышать шорох жизни даже в падении листа.

Она сидела на кровати и, твердо уверенная в обратном, говорила себе — не могло это произойти — глядя, как Бедолагин надевает рабочую куртку, надевает сапоги, а потом спокойно, невозмутимо смотрит на нее, засунув руки в карманы, и говорит — я сегодня не приду — говорит, как говорил всегда, если она была в пределах досягаемости его голося, а может, и тогда, когда она не могла его слышать, потом поворачивается и выходит; она смотрела ему вслед, уже твердо зная, что именно сегодня увидит его во сне; сидела, не замечая, как длится ночь, сложив худые руки на коленях, погасив свет, думала в сумрачной тишине; за два часа до рассвета легла не раздеваясь и, едва закрыв глаза, уснула.

И сразу, ниоткуда, он пошел в грязной куртке и тяжелых сапогах, бесшумно ступая по земле, неживой, бесплотный, вбирая в себя темную пустоту ночи, точно освежавшая шкура убитого зверя, не подчиняясь никому и ничему, истребив в себе все чувства вплоть до животных инстинктов, прошел по палисаднику и упал в кучу листвы, аккуратно собранную детьми перед тем, как поджечь, и ее сон пропитался запахом осени, наполнился громким шорохом сухой листвы, когда он зарывался в нее всем телом, чтобы замереть, лишь пальцы коснутся земли. А они уже бежали, маленькие, темные, худые, справедливые, чтобы подсесть листву, которую собирали в течение всей осени, от начала сентября до начала декабря, и в руках у них вспыхивали огни.

И, проснувшись, Анна вскочила с кровати, и выбежала из дома не обуваясь, и бежала по поселку во тьме нового дня, едва касаясь босыми ногами холодной, подмерзшей земли, а когда наконец показалось здание школы и палисадник справа от него, над черными деревьями она увидела белый лиственный дым, который медленно уходил в небо. Тогда она остановилась и стояла, глядя на белый дым, а потом сказала — господи — и сказала — господи — а потом сказала — храни.

ЦЕПЬ

В поселке видели, что Баскаков начал строить дом ранней весной, когда фундамент был уже заложен; видели через невысокий покосившийся забор, как он работает, не поднимая головы, не делая перерывов, чтобы поесть или покурить — с рассвета и до темноты, — но никто не видел, чтобы он спешил. Спал в двух метрах от большой, ветхой собачьей конуры, на сколоченных досках, подложив под голову клубок использованных тряпок, почти не раздеваясь, укрывшись куском промасленного брезента, к утру покрывавшегося росой, а рядом, чуть в стороне от конуры и лохани с водой, лежала крупная серая собака, неопределенной породы, но по цвету и толщине шерсти на холке, по дикой пульсиру-

ющей свирепости и поджарому заду можно было определить, что сука, родившая ее, путалась с волчьей стаей. Собака любила дождь и весной всегда была грязной, точно болотный буйвол; цепь ее была настолько длинной, что она могла ходить по всему двору, включая самый дальний его угол; спала она днем, когда хозяин работал, а ночью лежала рядом на залитой лунным светом земле, не издавая ни звука, и глазами зловещими, бесцветными, точно слюда, смотрела на калитку, готовая броситься на скрип петель, неистовая в своем ополовиненном существовании. Утром он просыпался, сбрасывал брезент, умывался, кормил собаку, ел сам, а потом отрешенно, непрерывно работал до вечера, пережевывая макуху, не поднимая головы — изо дня в день — и не поднимал головы, даже когда строил крышу, и они видели через невысокий, покосившийся забор, как он, согнувшись, торчал посреди двора, дробил воздух и свет частыми, мерными ударами топора, строгал, пилил, колотил, упрямый, враждебный, безмолвный, точно наполовину вбитый гвоздь, не замечая никого и ничего вокруг.

Кирпич, сухой цемент и прочий строительный материал ему поставлял старший брат, который работал главным инженером на кирпичном заводе, и потому в поселке лишь вяло удивлялись, следуя скорее укоренившейся привычке удивляться при виде того, что кирпич привозят без задержек, а также при виде качества кирпича. Если бы они знали, что старший брат берет с младшего двадцать процентов сверх государственной стоимости кирпича, готовый объяснить это тем, что дает в долг бывшему заключенному, они бы и вовсе перестали удивляться. Старший брат появлялся всякий раз, когда приезжал грузовик с кирпичом, и молча, невозмутимо наблюдал, как трое мужчин с завода, которые приезжали по его просьбе или указанию, обливаясь потом, разгружают кирпич, а младший брат складывает его широкими, невысокими стопками; невозмутимо стоял в стороне приземистый, несколько толстоватый для своего роста — полная внешняя противоположность младшему брату — с обрюзгшим желтоватым лицом, на котором поверх приплюснутого, широкого, точно каблук, носа блестели, отражая свет, стекла очков. После разгрузки старший брат доставал лист бумаги и карандаш, а младший, присев на кирпичи, писал долговые расписки; старший невозмутимо засовывал их в карман пиджака и молча уходил со двора, а за ним под бешеный лай собаки, посаженной на короткую цепь, гремя обтруханнкими бортами, выезжал грузовик. И лишь один раз они перемолвились словом; мужчины, разгрузившие кирпич, слышали, как старший брат презрительно сказал — угомони своего кобеля; тогда младший приоткрыл на мгновение шлюзы своей души, где клокотали запертые водовороты холодной, чистой, бесправной ненависти, и сказал ему сквозь стиснутые зубы — он на то здесь и посажен, чтобы брехать, когда по двору ползают гады.

В начале декабря выпал первый снег, и он, не достроив дом, уехал: рано утром убрал двор, огороженный забором, собрал и сложил инстру-

мент в наспех сколоченный сарай, закрутил калитку проволокой и неспешно, размеренно зашагал по поселку, сжимая в одной руке завязанный веревкой рюкзак без лямок, куда сложил остатки провизии, а в другой — натянутый серой собакой двухметровый кожаный ремень, на конце которого позвякивал тусклый карабин, прикреплённый к широкому грубому ошейнику. Он пошел на станцию пешком, хотя каждое утро туда ходил автобус — железный, дребезжащий ящик с выбитыми стеклами, замененными кое-где фанерой, взгроможденный на полуспусченные колеса, протекторы которых были гладкие, как куриные яйца; когда он проходил мимо магазина, где стоял автобус, толпа поселчан расплылась перед ним, ибо они были уверены, что он не станет ломать линию своего пути в угоду кучке людей, потому что было в нем нечто непонятное, что заставляло его двигаться по невидимым рельсам судьбы с ледяным, но ненавязчивым презрением совсем иначе, чем двигались они сами; и когда он молча прошел между ними, ветер донес до них запах свирепой сырости.

В полдень того же дня инструмент, который он спрятал в сарае, извлекли и увезли на грузовике двое мужчин с кирпичного завода.

Недостроенный дом стоял под снегом всю зиму, как нечто запретное, отталкивающее, словно гибельная священная гора, и каждый житель поселка, ревниво лелея негласный запрет, оберегал недостроенный дом от любых посягательств, не позволяя играть в нем детям, не позволяя бродягам использовать его для ночлега. И лишь один-единственный раз за эту зиму холодные кирпичные стены недостроенного дома послужили укрытием от ветра старому тщедушному бичу, чьи длинные седые волосы шевелились от насекомых, а одежда стояла колом, потому что в самой одежде было меньше тканой материи, нежели цементной пыли, блевотины и испражнений, смоченных потом скитаний в пору тепла, а ныне превращенных морозом в ледяной хрустящий панцирь, из которого уже невозможно было выбраться, не прибегая к помощи пилы или жаркого огня. Но стоило ему лечь лицом вниз, прикрыв голову худыми дрожащими руками, чтобы унять вой ветра в ушах и защитить лицо от снежной пыли, влетавшей через пустые оконные проемы и разверстые арки будущих дверей, как жители поселка, оповещенные каким-то мальчишкой, вооружившись отточенными лопатами, вилами и цепями, двинулись к недостроенному дому, ведомые странным непонятным долгом, который наполнял все их существо тихим настойчивым гулом раскаленной электрической спирали. Однако, едва они приблизились к покосившемуся забору, те, что шли в первых рядах, резко остановились, не осмеливаясь переступить красную черту запрета, пылавшую в их сознании, и лишь гикали и орали, размахивая руками в брызгах крика. А когда тщедушный бродяга вылез из дверного проема, неуклюже двигаясь в своей задубевшей одежде, точно в бетонной трубе, подогнанной под туловище, все еще не проснувшись окончательно, так что его водянистые глаза были прикрыты бледными, тонкими, как плацен-

та, веками, а уши заложены ветром, они вдруг разом замолкли и застыли, как если бы неожиданно окаменело пламя, окаменели многочисленные искры на той высоте, какой успели достигнуть до того, как окаменело в тишине само время. А затем один из них громко заорал: — Вот он! Вот он, мать-перемать! — и сразу звуки их голосов посыпались на бича, вместе с камнями и кусками льда, которые им удалось выбить из промерзшей земли носками сапог и ботинок; и тогда он с трудом поднялся на ноги и, опутанный сетями усталости и полудремы, покачиваясь, неуверенно побрел в сторону болота к высоким, темным вербам, преследуемый пронзительными криками и свистом льда.

Баскаков вернулся в марте следующего года. Первым его увидел слепой мальчик, который вставал обычно за час до рассвета, кожей предчувствуя утро и сидя у окна, опираясь на подоконник, заваленный спичечными коробками, на ощупь мастерил из спичек игрушечные храмы. Он увидел его накануне мартовского праздника, в шесть часов утра, идущего по весенней грязи в фосфоресцирующих сапогах, голенища которых были опущены или обрезаны почти до самых щиколоток; в одной руке он держал рюкзак без лямок, а в другой — кожаный ремень, натянутый срой собакой. Мальчик выронил спички и, испытывая жгучую боль в глубине незрячих глаз, молча, неотрывно, жадно смотрел поверх купола недоконченного спичечного храма на черную негибаемую спину, на черный, несокрушимый мужской затылок, похожий на тяжелый колокол, и смотрел, изнемогая от яркой боли, до тех пор, пока мужчина и собака не растворились в привычной тьме двухгодичной слепоты.

• В шесть часов утра седьмого марта он сорвал с калитки проволоку, посадил собаку на длинную ржавую цепь и некоторое время стоял около собачьей конуры, похожей на разваливающийся черный гриб, источенный муравьями, а затем, не переодеваясь, не осматриваясь, ничего не проверяя, взялся за работу, принявшись выметать из недостроенного дома мокрый хлам и сор, нанесенный ветрами за зиму. Этим летом он работал не один — каждый день ему помогали несколько мужчин с кирпичного завода, и почти каждый день к нему приезжал старший брат с клочками бумаги и огрызком карандаша, задерживаясь ровно на столько времени, сколько требовалось, чтобы получить очередную долговую расписку, определяя единолично стоимость строительного материала и рабочей силы, которая ему самому ничего не стоила, потому что дом помогали строить главным образом проворовавшиеся штрафники, желавшие по-доброму уладить дело, между тем главный инженер, он же председатель местного профсоюзного комитета, способствовал тому, чтобы мастера проставляли им в таблице рабочие дни, дабы они получали заводскую зарплату наравне с теми, кто сортировал кирпич; но если за использование рабочей силы старший брат брал с младшего сравнительно недорого, сопоставляя, видимо, суммы в долговых расписках со средней заводской платой сортировщика кирпича, то за строительный мате-

риал — в поселке подозревали, что материал также ничего ему не стоит — он брал втридорога, должно быть, применяя на деле систему компенсационных пошлин, уподобившись тем торговцам, которые хотели установить компенсационную пошлину на творог из молока коровы, выращенной на ферме, с тем чтобы творог был столь же дорогим, как строительство всей фермы; понимая, что хитрости эти никого не обманывают, старший брат тем не менее, не моргая, хладнокровно прятал долговые расписки в карман, садился на мотоцикл и ехал к нотариусу для их заверения, ничуть, казалось, не заботясь о том, что может стоять за молчаливым согласием младшего брата, который никогда ничего не проверял, не пытался что-либо оспорить, не обращал внимания на цифры и буквы, которые выводила его рука на клочках бумаги так, словно они не имеют к нему никакого отношения.

Дом был полностью закончен в середине сентября; кроме того, он сколотил из добротных брусков и досок два крепких сарая, предварительно свалив и разобрав сарай, сколоченный наспех, сколотил новую конуру серой собаке и разбросал по двору три машины белого речного песка. И тогда, не потрудившись отряхнуться от стружек и побелки, не потрудившись выбриться или хотя бы соскоблить коросту с угрюмого лица, он пришел на телеграф и отправил в Джезказган телеграмму с одним словом — «Приезжай», расплатился и, не сказав ни слова, вышел; полная телеграфистка сказала — хоть бы голос подал, дьявол окаянный; та, что принимала телеграмму, сказала — вы ж слышали, я его спрашивала, спрашивала, а он или кивнет или головой мотнет; третья сказала — кому это он телеграмму послал; та, что принимала телеграмму, сказала — Баскаковой — и сказала — жена, наверное, а может, сестра; полная сказала — откуда у него жена, у дьявола окаянного; та, что принимала телеграмму, сказала — но ведь его фамилия «Баскаков»; третья сказала — я и фамилию-то его в первый раз слышу — а потом сказала — скоро увидим; а полная сказала — еще не скоро — и сказала — Джезказган далеко.

Его жена и дочь приехали в начале октября. До их приезда он успел закупить кое-какую мебель; стол, стулья, кровати, пару тумбочек и уцененный шкаф с этажеркой для посуды, так что стало ясно, что деньги были у него с момента приезда и что он просто не пожелал расплачиваться за строительный материал наличными, предпочитая писать долговые расписки; кроме того, в одном из сараев мастерил перегородку из неотесанных жердей, разбросал сено и купил свинью в тот же день, когда разбросал сено и поставил грубо сколоченную кормушку, хотя мог купить свинью дешевле два дня назад у соседа, но не купил, потому что не было кормушки, которую он сколотил за час, и не было раскидано сено, которое он раскидал за пять минут. Когда минули две недели со дня отправления телеграмм, он стал приходиться по утрам к магазину, куда подъезжал автобус со станции, и молча, ни с кем не здороваясь, стоял левее входа в магазин, надвинув на брови войлочную

шляпу с широкими, загнутыми полями, покусывая желтую соломинку, чисто выбритый, прилично одетый, в тщательно вычищенных ботинках — таким его никто не видел, и те, кто шел, намереваясь заглянуть в магазин, улыбались ему на всякий случай, полагая, что человек этот изменил свою сущность, как изменил внешность, но, попадая в критическую зону радиации, которую излучала его личность, они, как прежде, чувствовали путаницу в мыслях и необъяснимую слабость во всем теле, словно живые волокна мышц оказывались расклеенными, более не связанными между собой, точно каскад сухих волос или развязанный сноп пшеницы, и на ватных ногах спешили покинуть круг пагубного воздействия неподвижной фигуры, застывшей в невозмутимом ожидании. Он приходил к автобусу два дня, и лишь на третий они приехали. Пропустив всех пассажиров, чтобы не мешать им своими вещами, они сошли с автобуса последними — высокая, стройная женщина с бледным красивым лицом в белом платье — просто поразительно — сказал школьный учитель, который при этом присутствовал, оказавшись единственным мужчиной, кому она одним своим видом не высушила язык — просто поразительно — сказал он — как это можно выйти такой чистой и красивой из этого ржавого пыльного корыта; следом за женщиной сошла милостивая девушка лет четырнадцати-пятнадцати в бежевой юбке, коричневой блузке и пестром платке, повязанном на подбородке, скрывавшем щеки до уголков нежных розовых губ. Девушка несла набитые до отказа сумки, а стройная женщина — два потертых чемодана; тогда учитель шагнул к женщине с явным намерением ей помочь, но столкнулся взглядом с милостивой девушкой и, столкнувшись с ней взглядом, явственно услышал резкий хрустальный звон, как при столкновении двух стеклянных предметов; он повернул голову к женщине, но вдруг оказался в положении человека, собравшегося шагнуть вперед, но неожиданно остановленного натянутой на шее петлей, и тогда он посмотрел на девушку, ибо она находилась в той стороне, где брала начало невидимая веревка крепкой петли, и увидел, как она медленно покачала головой, указывая глазами на неподвижную фигуру мужчины в войлочной шляпе, который ожидал их приезда три дня, а дождавшись, не тронулся с места; и женщина с двумя чемоданами двинулась прямо к нему. Только тогда до жителей поселка дошло, что это и есть его жена. Школьный учитель сказал — да — сказал, потому что сказать что-либо было просто его долгом, потому что он один умел говорить грамотно в силу своей профессии, и сказал — надеюсь, хотя бы она слышала звук его голоса — а потом сказал — хотя бы до свадьбы. И все же убедившись воочию в том, что жена его, мало того, что существует, но молода и красива, они готовы были обвинить во всем собственное зрение, сыгравшее с ними столь нелепую шутку, потому что иначе, как спящего на голой земле рядом с грязной серой собакой, они его не представляли; кроме того, им не давал покоя вопрос, чувствует ли эта женщина то же, что чувствуют, приближаясь к нему, они сами, или, быть может, она сумасшед-

шая, и путаница в мыслях — естественное ее состояние, а всеобщая слабость в теле — следствие иной болезни, которую некогда можно было вылечить, если бы не постоянное, тесное общение с ним, сделавшее эту болезнь хронической. Пока они напряженно думали, теряясь в догадках, школьный учитель, не переставая жевать яблоко, говорил — сейчас они домой придут, и она ему мучную болтушку сделает — и говорил, задумчиво глядя им вслед — я видел, он вчера муку купил; кто-то сказал — так, выходит, она сумасшедшая, что ли?; учитель сказал — она не сумасшедшая — и сказал — выходит, это мы сумасшедшие. Только они ему не поверили и собирались что-то возразить, все разом, но увидели, что учитель не станет их слушать, может, потому что не местный; а они — сама земля, и им, как самой здешней земле, есть дело до всех, кто по ней ходит. Смотрели им вслед, а они шли по пыльной дороге, выложенной стертým булыжником, а потом свернули на грунтовку, где пыль густая и мягкая, как мох, делала шаги бесшумными, и пошли к новому дому, чтобы жить там по милости старшего брата, и впереди шла, угадывая дорогу, дочка, удивившая всех своими желтыми, точно переродивший мед, глазами, способными удерживать человека крепче петли. Потом они часто видели их, но уже без Баскакова, который мог преспокойно пройти мимо жены или дочери, повстречавшись с ними на улице в районном центре, не сказав ни слова — ему, видно, и в голову не приходило разговаривать с ними без особой надобности, лишь на том основании, что одна из них — его жена, а другая — его дочь, как всем остальным не приходило в голову разговаривать с темнотой колодца или запахом цветочной клумбы; но если они сами подходили к нему, стояли перед ним, желая что-то спросить, узнать, следует ли покупать в магазине то или иное, он иногда говорил, но так, словно и не говорил вовсе, а шевелил губами и ни одна морщинка не укорачивалась и не удлинялась на его угрюмом, темном лице; если он и смотрел на них при этом, что случалось очень редко — по крайней мере на улице, при посторонних — то смотрел так же, как смотрел на построенный дом, точно наравне с домом, только давно, строил их обеих, складывая кости и хрящи в скелет по имеющимся чертежам и рисункам, протягивая жилы, вены и мышцы, нагнетая кровь и грунтуя подделки кожей, и теперь, благодаря ему, они имеют возможность двигаться, видеть, слышать, дышать, и ему не понятно, чего еще они от него хотят. Обе они были безупречно хороши и по самым строгим меркам не имели ни одного изъяна, если не считать следа ожога на правой щеке дочери; эту метку огня скрывала пестрая косынка, но старухи, уже после того, как все об этом узнали, принялись утверждать, что цвет ее глаз сразу выдал то, что скрывала косынка, потому что стоит огню коснуться лица ребенка в ту пору, когда глаза еще способны менять оттенки, они на всю жизнь становятся желтыми и озаряют сны бледным, лимонным светом пожаров.

Старший брат приходил к Баскакову пять раз в течение полугода и невозмутимо требовал выплаты денег по долговым распискам, ров-

ным, бесцветным голосом угрожая начислением месячных процентов; визиты эти начались через три месяца после того, как Баскаков устроился на работу, и лишь в пятый свой приход старший брат заявил, что через два месяца вынужден будет подать в суд, востребовав законным путем выплаты денег по долговым распискам, а потом, что называется, пустит дом с торгов и получит, таким образом, причитающуюся ему сумму сразу после инвентаризационной комиссии от нового владельца; рассчитаться в срок, установленный старшим братом, то есть за два месяца, было заведомо невозможно, и установил он этот срок, наверняка зная, что на таких условиях Баскаков вообще не станет начинать выплату, потому что это бессмысленно. И вот они сидели в одной из комнат нового дома друг против друга, на новых жестких стульях, за новым круглым столом, покрытым клетчатой скатертью, на первый взгляд, беспмятные иступканы, а на самом деле все помнящие, единокровные, непримиримые враги, всегда ставившие превыше всего холодную обоюдную ненависть, тщательно скрывающую, глубоко спрятанную где-то в дуплах глазниц, тлеющую там в золе мятежа, сидели, глядя друг на друга. А потом Баскаков без всякого выражения, слегка растягивая слова, сказал ему — я выплачу тебе все сполна, но за два года, как договаривались; старший брат сказал — в расписках никаких двух лет не числится — и сказал — деньги мне нужны срочно; Баскаков сказал — я выплачу тебе сполна, но за два года — и сказал — за два года, запомни — а потом, все так же, без всякого выражения, словно не говорил ничего, просто шевелил губами, сказал — ну, а если ты подашь на меня в суд, я тебя убью.

Однако пятый визит старшего брата положил начало серьезным раздумьям, а затем наступило нечто вроде прозрения, которое, впрочем, ни к чему не привело, просто не могло привести ни к чему действительно — по крайней мере в данный момент — кроме того, что Баскаков, сидя на крыльце в полночь, понял вдруг, что его старшему брату не нужны деньги по долговым распискам, то есть он бы, конечно, не отказался их получить, если бы придумал, как содрать, но главное для него был даром построенный дом, записанный на чужое имя. Баскаков же был использован, как подсадная утка, фиктивный хозяин, лишит которого собственности можно было в любое время, потому что он оказался в положении человека, юридически уязвимого, точнее — беспомощного, припертого к стенке долговыми расписками. Старшему брату нужен был дом — иных побуждений выдвигать заведомо неисполнимые требования Баскаков не видел; что же касается прибавления двадцати процентов сверх государственной стоимости строительного материала, это был, по всей вероятности, отвлекающий ход, при помощи которого старший брат хотел уверить Баскакова в своей личной финансовой заинтересованности, не столь очевидной без этих двадцати процентов прибыли, потому что никто не мог знать точно, платил ли он собственные деньги за строительный материал или приобретал его путем всевозможных махинаций, таких, как обмен кирпича на шифер, доски, цемент, но это было

уже не столь важно, как не важны были те цели и подцели, тайные надежды и темные намерения, которыми руководствовался старший брат, ибо для Баскакова все кончалось там, где кончались интересы Баскакова.

Это произошло летом, примерно через восемь месяцев после того, как ее матери вернули из поссовета паспорт с местной печатью и примерно через месяц, после того как ее, не получившую паспорта вообще, впервые увидели в обществе этого здорового парня, который жил в соседнем поселке и до недавнего времени работал грузчиком на маргариновом заводе, а уволившись, сразу устроился грузчиком на кирпичный завод. Причем встречи с ним, видно, были ей не особенно приятны, а может, она просто стеснялась своей левой щеки с отметкой огня, так или иначе не она искала этих встреч, а встречаясь с ним по дороге домой из школы или же из кино, куда изредка ходила в компании своих сверстниц, которые при его появлении тут же оставляли их вдвоем, она, судя по бледному лицу, — если женским лицам вообще можно верить — не испытывала ничего, кроме затаенной, тихой муки. Он же спокойно шел с ней рядом, высокий, широкоплечий, с ног до головы закованный в непробиваемую броню могучих мышц, и не будь его рубашка распахнута на волосатой груди, можно было подумать, что если он и не закован под одеждой в латы, то уж бронжилет наверняка на нем; однако это было лишь первое впечатление, исчезающее при ближайшем рассмотрении, потому что вблизи было видно, как плавно и мягко перекачивается кожа на огромных мышцах, плавно и мягко, как вода в горных реках перекачивается через гладкие, круглые камни, и двигался он так же плавно и мягко, но в каждом его движении сквозила неукротимость воды, кажущееся спокойствие потока, бесследно исчезающее, стоило лишь руслу пойти под уклон. Ему было двадцать пять лет, но на вид можно было дать все тридцать; он никогда не доходил до ее дома, прощаясь метров за двести от него, как видно, он понял, что быстрее добьется своего, не противореча ее желаниям. Но как-то раз, когда молва о них уже вскипала горькой слюной на губах благонравных поселчан, он проводил ее до самой калитки, и случилось то, чего она все это время опасалась — из дома вышел Баскаков и не спеша пошел прямо на них. Он открыл калитку и, не глядя на парня, со скупым, холодным любопытством обратил взгляд на дочь и молча, холодно разглядывал ее в течение долгой минуты, намереваясь, видно, решить, что обледенеет сначала — женщина или время, а потом спокойно сказал — ступай домой. Оставшись наедине с парнем, которому едва доставал до плеча, и, упершись взглядом ему в грудь, он вдруг поднял руку и темным, прямым, твердым пальцем ткнул парню в живот, продавив могучие мышцы так же легко, как висящую марлю, и без всякого выражения ска-

зал — чтоб больше я тебя с ней не видел — выждал немного, не убирая пальца, а потом сказал — все.

Долгое время в поселке не могли уяснить, как этот парень, после предупреждения Баскакова, решился пойти на то, что сделал впоследствии с его дочерью в сосновом бору — он жил с ними на одной земле, питавшей их мускулы одинаковой силой и одинаковой усталостью, дышал с ними одним воздухом, вдыхая решимость и выдыхая нерешительность, пил ту же воду с привкусом травы, с привкусом корней и, однако же, решился посягнуть силой на существо, чья неприкосновенность была нерушимо обеспечена кровью Баскакова, его священный трудом шестнадцатилетней давности, наконец, призрачной печатю его собственности. Это произошло в полдень безоблачного, знойного августовского воскресенья, когда температура воздуха превзошла критическую температуру человеческого тела, когда жители поселка, чьи мозги закипали в черепной коробке, точно в герметически закупоренной кастрюле, ожидали непостижимого события, вроде того оранжевого миража, что посетил их небо пять лет назад в изнуряющей жаре такого же августовского дня, который затем во всех подробностях был описан в районных газетах края. И вот после того, как четырнадцатилетний пастух прогнал через поселок стадо одуревших от зноя коров, отклавшихся пастись, пная их под ребра твердыми, круглыми пятками, они увидели, как дочь Баскакова со своим широкоплечим ухажером, презревшим запрет ее отца, скрылись в сосновом бору для серьезного разговора. А час спустя она уже бежала к поселку со стороны соснового бора, едва удерживаясь на негнущихся, перепачканных ногах, движимая, казалось, инерцией первого и единственного толчка, порыва, в разорванном грязном платье со следами раздавленных черных ягод на спине, с кровотокащей царапиной на лбу и растрепанными волосами, в которых запутались куски коры, сосновые иглы и мох. В то время как его изнасилованная дочь влетела в дом с твердым намерением никогда больше из него не выходить и рухнула там в потемках отчаяния, не пытаясь скрыть от матери того, что произошло, Баскаков, одетый по-осеннему, невзирая на чудовищную жару, не способную, однако, растопить внутренние залежи льда в его душе, надвинув на брови широкополую войлочную шляпу, устанавливал самодельные вентери в конце огорода, среди высоких болотных камышей и осоки; опускал вентери в глубокие узкие канавы, наполовину заполненные зеленой, гнилой водой, вырытые для того, чтобы болото не разливалось и не размывало насаждений на крайних грядках огородов в период весенних дождей, и, мрачно сжав губы, думал о старшем брате. Нагибаясь над канавами в шорохе сухого камыша, чувствуя резкий запах тины и рыбы, он думал — что задумал этот сукин сын — и думал — понятно, что он что-то задумал, раз не появляется полтора месяца со своими погаными расписками. Он постоянно думал о нем с тех пор, как, сидя на крыльце в полночь, после пятого визита старшего брата, понял, что тому нужен дом; и в раздумьях своих, в непримиримом одино-

ком ожесточении пытались просчитать все варианты, всевозможные пути, которые использует старший брат, чтобы лишить его дома, построенного на фундаменте пота и упорства, ни минуты не сомневаясь, что предстоит яростная борьба, тайная, скрытая от всех борьба двух одиночных существ, рожденных одной женщиной, давно умершей, но предсказавшей эту борьбу, не человеческую борьбу, а скорее борьбу взаимоисключающих явлений — от одного мужчины, давно умершего, слышавшего ее предсказание, но не сумевшего разглядеть в детских играх сыновей проблеск едва уловимого, упорного сопротивления взаимному родству, которое они, став взрослыми людьми, не сумели скрыть, даже при свойственной обоим замкнутости, неразговорчивости и, вполне возможно, объединились бы первый и последний раз, чтобы свернуть шею тому, кто открыл, огласил, представил на обозрение их кровное родство в этом поселке, куда они приехали каждый сам по себе в разное время.

Баскаков отсуетствовал еще около часа, в течение которого его жена успела сорвать с дочери всю одежду и, смочив ее керосином, сжечь в печи, кроме того, она волоком вытащила ее из дома, помыла холодной водой, одела в чистое, повязав на голову косынку, скрывающую царепину на лбу, и уложила в постель. Так что, когда Баскаков вошел в дом, он был встречен тяжелой, неподвижной тишиной, в которой, казалось, каждый звук принял бы видимые очертания, а крик вспыхнул бы огнем. Жене он ничего не сказал, а она молча накрыла на стол, и потом уже, когда он повесил на вешалку шляпу, вымыл руки и сел за стол, она, наливая в жестяную кружку парное молоко, сказала ему — наша девочка заболела; он только посмотрел на нее, приподняв одну бровь, продолжая молча жевать; она сказала — это все жара проклятая — и, отвернувшись к плите, сказала — завтра пройдет — и сказала — жара проклятая; он опять ничего не сказал, ел молча, больше не отрывая глаз от тарелки, погруженный в мысли о старшем брате, и она больше ничего не сказала. Потом он встал, отодвинув тарелку, и прошел в другую комнату, где под легким покрывалом лежала их дочь; на секунду задержавшись в дверях, но увидев, что она не спит, подошел к кровати и, глядя на белое, изможденное лицо, протянул темную руку, положил ладонь ей на лоб и, едва шевельнув губами, сказал — температуры нет — и спросил — что с тобой?; а она сказала — ничего — и, совладав со спазмами в горле, сказала — ничего — и сказала — голова болит; он убрал руку и сказал — спи; тогда она покорно, устало закрыла глаза, но, лишь он вышел, ее глаза открылись.

А потом, уже под вечер, когда его жена благодарила Бога за то, что подходит к концу этот проклятый день, и просила, чтобы темнота ночи лишила всех памяти, к Баскакову пришел старший брат. Минут пять они тихо разговаривали, стоя у окна друг против друга, потом старший брат, увидев жену Баскакова, спросил ее — что с вашей дочерью? — и ровным голосом спросил — что-нибудь случилось?; а она ему сказала — ничего, она спит — и сказала — нездоровится, ничего страшного — а потом сказа-

ла — завтра все пройдет; старший брат неотрывно смотрел на нее, а потом спросил — да? — и смотрел на нее, и еще раз спросил — да? — и сказал — ну, хорошо. Как только дверь за ним закрылась, она чужим, мертвым голосом спросила Баскакова — зачем он приходил, зачем? — и спросила глухо, неуверенно — что он тебе сказал?; Баскаков сказал — он сказал, чтоб я не спешил с выплатой по распискам, сказал, чтоб за три года выплатил — и хмуро сказал — чтоб не спешил; тогда она схватила его за рукав пиджака и, заглядывая ему в лицо, почти шепотом, судорожно выдыхая застревающий в горле воздух, спросила — и больше ничего? — и спросила — больше ничего?; он сказал — больше ничего.

Между тем в поселке ждали, что будет, вернее, как это будет, уверенные в том, что это будет; бродили в замкнутом кругу ожидания, глотая раскаленный воздух августовского дня, ставший единственной пищей этого воскресенья для большинства из них, а сосед Баскакова, вознамерившись, видимо, разорвать замкнутый круг посредством физического действия, в тот же день зарезал черного козла, содрал с него шкуру, освободил кости от мяса и сухожилий и сложил кости в холщовый мешок, а когда жена испуганно и возмущенно спросила, зачем он это сделал и для чего ему понадобились кости козла, он мрачно сказал — в могилу той сволочи — но и, проделав все это, он вынужден был признать, что ему так и не удалось разорвать замкнутый круг ожидания, не удалось даже его покинуть; и по мере того, как воскресенье погружалось в горячую темноту ночного времени, они все чаще спрашивали себя, уж не приснился ли им этот день, не был ли он сном-предостережением. Однако, когда глубокой ночью школьный учитель, трезаемый бессонницей, обычной для людей творческого склада, встал с ненавистой кровати и, плеснув в стакан розового портвейна, чтобы успокоить разгулявшиеся нервы, пил его, стоя у окна, он увидел вдалеке тускло светящуюся точку, мерцавшую где-то у соснового бора, но поначалу не придал этому значения, так как решил, что это лампочка на водонапорной башне, но вскоре заметил, что точка эта мало-помалу растет, движется по направлению к поселку со скоростью бегущего человека; и в траектории движения светящегося тела ему почудилось нечто знакомое, нечто виденное им совсем недавно, а потом он с ужасом начал разбирать очертания бегущей женской фигуры, мерцание стройных ног и рук, мерцание развевающихся волос, а затем светящийся фантом женского тела в натуральную величину промелькнул мимо его дома, точно так же, как промелькнула в полдень дочь Баскакова в своем грязном, разодранном платье. И тогда школьный учитель нашарил на подоконнике спички, зажег трясущимися руками одну из них и, зажмурившись от боли, погасил ее об язык, твердо уверенный, что немедленно проснется, но, когда он открыл глаза, оказалось, что он все так же стоит у окна, глядя на стакан розового портвейна, со спичками в руке, обожженным языком и привкусом серы во рту.

И только утром всем наконец стало ясно, что жене и дочери Баскакова удалось каким-то образом скрыть от него происшедшее, ибо им и в голову не приходило, что он мог знать все, ничего при этом не предприняв; и тем же утром старик Пал, с юношеской резвостью продиравшийся сквозь тернии великого множества лет, отпугивая смерть своим запахом, — маленький, тощий, иссохший, точно саксаул, не верящий в нерушимость такой геометрической фигуры, как круг, пошел прямо к его центру. Он пришел на лесопилку, где работал Баскаков, и выложил все, что ему было известно, в неподвижное, темное лицо, а затем, не дожидаясь ответа, пошел обратно в поселок, чуть не столкнувшись у пилорамы с дочерью, которая неслла Баскакову обед. И стоило ей лишь взглянуть, мельком посмотреть на темное, неподвижное лицо отца, чтобы увидеть, то, что для всех остальных оставалось неизменным, — едва уловимый серый налет слов, пыль правды, осевшую на лице, отчего почернели словно нарисованные углем морщины. И он несколько мгновений смотрел на дочь, приготовившись идти, а потом сказал — так — и сказал — так — а потом не спеша зашагал между досок, уложенных штабелями, прочь с территории лесопилки.

Он уходил вверх по холму — она даже не могла себе представить отца, идущего вниз — не спеша, размеренно, по темной жесткой траве, и каждый его шаг был точным повторением предыдущего, и по его затылку она видела, что он смотрит вперед, но не выше своей головы, как если бы выше ничего не было, а было лишь ниже и очень редко вровень; и в этом извечном, неистребимом, неспешном движении, в этой размеренной, сосредоточенной походке не было и тени упрямства, желания куда-либо прийти или от чего-то уйти; она думала — разве можно это остановить, разве можно предотвратить приход, появление этого; он уходил вверх по холму, вдавливая в землю жесткую траву своими чугунными ступнями; и ей казалось, что точно так же он способен идти через лес, не огибая деревья, а просто уничтожая их своей тяжестью, не останавливаясь при этом ни на секунду, не так, как это делала бы стальная, многотонная машина, оглашая окрестности надрывным ревом, пробуксовывая в рыхлой земле, а так, как делал бы это полутораметровый, безмолвно движущийся предмет, наделенный весом планеты.

Он подошел к проходной кирпичного завода за полчаса до окончания первой смены, когда дождь уже начался, и неподвижно стоял в стороне, под цветущей акацией, надвинув на брови широкополую шляпу, бесстрастно покусывая тонкую, желтую соломинку, нацелив глаза на обшарпанную дверь проходной, чуждый не только нетерпению и гневу, но самому ожиданию, наблюдал, как первая партия усталых, подвыпивших рабочих, лениво перебрасываясь репликами, выходит с завода; не обращая на них внимания, все так же беспристрастно ожидал, глядя на проходную под мелким, набирающим силу дождем, — одинокий перст возмездия; и это было лишь продолжением, длением той размеренной, нескончаемой работы, которую он начал в ту минуту, когда вознамерил-

ся построить свой первый дом, продолжением той непреклонной линии поведения, которую избрал, будучи подростком, и вследствие которой совершил преступление, но увидел в нем лишь логичную развязку ситуации и, лишившись первой своей свободы, лишился первого построенного дома.

А потом тот парень вышел через проходную — высокий, здоровый, с загорелым, обветренным лицом, в линялой желто-белой солдатской куртке, с темно-зелеными следами от сорванных погон на могучих, покатых плечах, и, как только увидел Баскакова, руки его скрылись в карманах штанов, а затем одна рука извлекла и впихнула в маленький, как пупок, рот длинную папиросу, потом появилась другая со спичками; стоя под козырьком проходной, он прикурил и, отвернувшись от Баскакова, шагнул под дождь. Тогда Баскаков, не изменив позы, не выплюнув соломинку, прилипшую к нижней губе, громко сказал — эй, парень — и это было все, что он сказал; затем развернулся на каблуках и, не оглядываясь, пошел вперед, слыша за собой звук шагов. А тот уже на ходу спросил его — куда?; тогда Баскаков остановился, едва приметно кивнул головой влево и сказал — к той вон птицеферме; а тот спросил — а потом? — спросил, стараясь разобраться в выражении пустых, безучастных глаз, глядевших на него из-под широких полей черной войлочной шляпы, холодных, непроницаемых, как стальные заклепки, в которых отсутствовала не то что малейшая искра жизни, но даже ее отражение, и тот снова спросил — а потом?; Баскаков сказал — а потом увидишь кое-что новое — и пошел вперед. Продравшись через густые, мокрые заросли бурьяна, крапивы и диких цветов, они поравнялись со старой телегой, лежащей на боку посреди небольшой, почти квадратной пустоши, усыпанной битым кирпичом, и парень, остановившись, сказал — дальше не пойду — и сказал — нечего топать, аж до самой птицефермы, здесь все и обговорим — и, принявшись раскачиваться на носках, растянул словно высверленную дырку рта в узкую, маленькую улыбку, все еще полагая, что они пришли сюда драться, все еще веря в несгибаемую силу своих рук и хребта, раскачивался на носках под теплым дождем, какой бывает в пору позднего лета и не несет прохлады, быстро превращаясь в душный, влажный пар; раскачивался на носках, глядя на Баскакова сверху вниз, с трудом сдерживая беспощадную, разрушительную силу своих мышц, едва не рвущих одежные швы, сдерживая взрыв своего огромного тела, способного, казалось, смести без прикосновения неподвижную маленькую фигуру в широкополой шляпе одним лишь сотрясением. Он перестал раскачиваться на носках в ту секунду, когда услышал вдруг резкий щелчок, какой могут издать сильные, твердые пальцы, требуя внимания, но он знал, что это не пальцы, и он услышал щелчок не слухом — уши здесь были ни при чем, и даже если бы они были наглухо заткнуты деревянными затычками винных бочек, он услышал бы этот щелчок кожей, как слепой мальчик шаги рассвета — и кожа впустила звук во внутреннюю темноту, и он проник беспрепятственно, словно из-

лучение, парализовав все движения живого организма, и по узким, отполированным кровью каналам беззвучнее тока побежала смерть; а потому уже, на долю секунды, он увидел четырнадцать сантиметров блестящей, не тронутой дождем стали, бравшей начало в темном кулаке.

Баскаков пошел в сторону поселка через сосновый бор, наполненный шумом дождя, чувствуя ногами мягкую, податливую землю, слышал свист мокрой густой травы под носками сапог и думал о себе. Они догнали его в двухстах метрах от озера, там, где сосны уже редели, но были все такими же высокими и стройными, только со всех сторон мокрыми от дождя. Когда он увидел с ними старшего брата, он все понял, но не сделал ни одного лишнего движения, и выражение его темного, утрюмого лица, такого же неподвижного, твердого под стремительными каплями дождя, как панцирь черепахи, ничуть не изменилось, словно и не могло измениться, словно и не менялось с рождения, а только грубело под натиском солнца, времени, ветра. Они бежали к нему под дождем, петляя между мокрыми стволами сосен, а он, глядя на них, думал — так — думал — вот, значит, как ты решил вытурить меня из дома — и думал — так. Он знал, что теперь самое главное — предупредить жену, чтобы она ни за что не покидала дом, главное — сказать ей, чтобы она ни в коем случае не съезжала, не уезжала из этого дома, как уехала за ним, когда его посадили первый раз, потому что, если в доме будет жить одинокая женщина с дочкой, ему не так-то просто будет получить этот дом, даже со своими долговыми расписками, потому что закон всегда на стороне женщины и ребенка, и он думал — вот о чем нужно было сначала думать, вот о чем — думал — знать надо было, что он следит за мной и этим парнем, что все рассчитано — думал — он-то знал, что я его убью, вот и держал трех легавых под рукой и сразу припустился по следу, сразу — думал — теперь он скажет ей, чтоб она съезжала и она съедет, да ему и говорить ничего не надо, она и так съедет, как в тот раз, потому что я-то ей ничего не сказал. Как видно, тот факт, что он убил парня, был для них бесспорен: они даже не спросили, он ли его убил. Он стоял между двумя милиционерами перед молодым энергичным лейтенантом у высокой сосны, чувствуя ногами мягкую, податливую землю; на старшего брата он не смотрел, а смотрел на лейтенанта. Лейтенант сказал — чего смотришь? — лейтенант был при оружии; он сказал лейтенанту — мне нужно повидаться с женой — и сказал — на одну минуту; лейтенант сказал — нет; он сказал — мне нужно повидаться с женой; старший брат сказал — еще чего; лейтенант сказал — на суде повидаетесь; он без всякого выражения сказал — мне нужно увидеть ее на одну минуту; лейтенант молча посмотрел на старшего брата, а тот ровным голосом сказал — он убил человека; тогда лейтенант сказал — давай, пошел — и сделал знак милиционерам, и они взяли его за руки, чуть повы-

ше локтя, но он не тронулся с места, а они не смогли его сдвинуть. По его неподвижному лицу медленно текли капли дождя, задерживаясь на искривленных губах и скошенном подбородке. Он смотрел мимо лейтенанта, на старшего брата. Потом он облизнул холодные губы и сказал — ладно, паскуда; лейтенант посмотрел на старшего брата, а затем на Баскакова; ладно, паскуда — сказал Баскаков, глядя на старшего брата. Потом они повели его по мокрой траве. Он шел между ними и говорил — ладно, паскуда. Ладно.

СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

От прежней жизни у него остался гул в ушах, но уже не настолько громкий, как бывало прежде, когда казалось, что гудит все тело, гудят кости, зубы, ногти, не настолько всепоглощающий, что казалось — рушится темная пещера его организма, не тот гул, за которым не слышно человеческих слов, направленных прямо в ухо: но себе он давно сказал — это гул моего сердца. И если прежде он не мог расслышать существенных слов, а знал лишь свои мысли, то теперь, женившись на женщине, которая подобрала его на вокзале и привела к себе, поставив перед своей матерью, он мог слышать их обеих, стараясь привыкнуть, впустить в себя отчетливую речь, превратив чужие слова в нечто физически осязаемое, чувствуя их кожей лица, как легкие, почти невесомые комки ваты; однако избавиться от привычки орать в тишине, пытаться перекрыть гул внутреннего обвала, ему так и не удалось, и голос его, пронзительно громкий, выкрикивавший слова, смысл которых казался тем более абсурдным, чем громче он их выкрикивал, звенел в оконных стеклах, мутил прозрачную воду, тревожил пепел в печи.

Как все это произошло у них на вокзале, мать Марии так и не узнала, скупо, дотошно храня в памяти день появления своей дочери с мужчиной полутораметрового роста, одежда которого годилась разве что на факела; она видела этот день бессонными ночами в гипнотическом трансе все семь лет, что предстояло ей прожить, начиная с этого дня; и видела главное событие этого дня на смертном ложе, погруженная в мягкое, неторопливое течение умирания, — и они плыли вместе с ней, окаменев в ее сознании, такими, какими она запомнила их навечно, — не успевшие еще раскрыть рта, не успевшие еще породниться и сделать все то, что сделали потом, — ее дочь со своим будущим полутораметровым мужем, молча стоящие перед ней, готовясь, не испросив благословения, сообщить о своем решении.

Но, как и следовало ожидать, поступок Марии мало удивил тех, кто ее знал, а знали ее очень многие; иными словами, от нее давно уже ждали чего-то подобного, особенно в последнее время, наблюдая в течение пятнадцати лет, как она, пытливо всматриваясь в ночное небо, ищет

свою звезду, посылая во вселенную заряды неистовой жажды материнства; поэтому можно было не сомневаться, что, как только она отыщет эту звезду, самое позднее утром, выйдет на улицу с сетью и веревками, поймает, свяжет первого попавшегося мужика и затащит его в дом.

Привела она его в среду в одиннадцать часов утра, а в половине двенадцатого он уже стоял голый посреди двора, между коровником и сараем, где хранилось сено, перед большим, глубоким тазом, наполненным теплой водой; его старая одежда, аккуратно сложенная, лежала в стороне, и потом, когда Мария, вооружившись жесткой мочалкой и мылом, нагнула его над тазом, молча, бесстрастно намыливая совершенно белое, почти безволосое мужское тело, он то и дело, напрягая шею, косил глаза в сторону одежды, вокруг которой бродили куры. Вся тщательно проведенная процедура отмывания заняла не более получаса, после чего, вытерев его досуха махровым полотенцем и прихватив старую одежду, она завела его в дом, в комнату, которую с шестнадцати лет считала своей, где на широкой девственной кровати лежала новая мужская одежда с ценниками — светлая рубашка кремового цвета, темные наглаженные брюки с новым хрустящим ремнем, уже вдетым в петли, синие носки и черные блестящие туфли — все то, что она медленно и разборчиво покупала с двадцати до тридцати пяти лет в предчувствии неизбежного замужества, для придуманного мужчины среднего роста и телосложения; и она сказала ему — вот — и сказала — это твоя новая одежда, надень ее — а потом вышла, прикрыв за собой дверь, оставив его наедине с незримым духом женского одиночества, который, по ее мнению, должен был убедить его в том, что здесь он первый и последний мужчина, по крайней мере до тех пор, пока комната эта принадлежит ей.

Он появился у нее за спиной, облаченный во все новое, когда она стояла на кухне у газовой плиты, уже проверив карманы его старой одежды, перед тем как выбросить, и, не замечая его появления, не оглядываясь, держала в одной руке плотный, многократно сложенный бумажный лист, а в другой — темную тряпку, в которой было что-то завернуто; в следующую секунду сложенный бумажный лист полетел в мусорное ведро, и сразу же, мгновенно, в ту же секунду он заорал — стой! — и еще раз, почти без паузы дико заорал — стой! — уже кинувшись к ведру, с грохотом опрокинув его на чистый половик и разбросав картофельные очистки, куриные потроха и кашеобразную жижу, предназначавшуюся свиньям, схватил обеими руками истертую по краям бумагу и принялся тщательно отряхивать от нечистот, стоя на коленях, прямо у перевернутого ведра. Тогда она, еще не придя в себя, сдавленно сказала — господи — и сказала — что это? — он заорал, выпрямившись, но не поднимаясь с колен — что это, что это?! — и, перекосив слишком маленькое для такой большой головы лицо, заорал — это моя родословная! Она стояла перед ним, в изумлении приоткрыв рот, застывшая, побледневшая, никогда не слышавшая, что у кого-то, кроме охотничьих собак и персид-

ских кошек, бывают родословные, а он, отряхнув чуть подмокшую бумагу, поднялся с колен, нелепый, в одежде не по размеру, но словно не замечавший, не думавший об этом, чувствуя, как барабанные перепонки лопаются от чудовищного гула, быстро протянул руку, вырвал у нее тряпку, в которой было что-то завернуто, и заорал — дай сюда! — потом заорал — вот так! — а затем вышел из дома и долго сидел в саду, упершись взглядом в ствол сливы, и тело его сотрясали каменные удары сердца, а он бормотал себе под нос — черт, черт, лишь бы не треснули ребра, лишь бы не треснули ребра.

Но тем же вечером, когда гул в ушах немного утих, а сердце смягчилось в груди, некоторое время просидев молча у окна в сумеречной тишине, он подошел к столу и разложил перед Марией пресловутую потрепанную бумагу, оказавшуюся старым, но довольно плотным еще ватманом размером в квадратный метр, и велел позвать мать. И они обе склонились над столом в мягком, желтом свете абажура, и тени их упали на многочисленные имена и фамилии, расположенные в строгой последовательности, с различными пометками, вплоть до роста, непонятными кабаллистическими знаками, крестами и цифрами, знаками Зодиака и ровными, короткими стрелками, указывавшими на кровную связь, — и если бы они сумели досконально разобраться, вникнуть в эту целостную, строго выверенную геральдическую схему, в которой предстояло занять место и одной из них, они увидели бы историю постепенно деградирующего рода — о чем свидетельствовало неуклонное понижение физического роста и столь же неуклонное повышение роста болезней его представителей, зачинателем которого фигурировал некий гигант, вокруг фамилии которого не было ни одного порочащего знака, ни одной пометки, указывавшей на какое-либо отклонение в могучем организме, кроме знака Зодиака и цифры девяносто девять, означавшей количество прожитых лет. Десять минут стояли они в полном молчании, склонившись над столом, не отрывая глаз от четкой, мертвой картины, так, что в конце концов им показалось, что они уже видят застывшие, угрюмые лица всех этих людей, спрятанные, прикрытые непроницаемыми масками одинаковых фамилий, а потом он, ткнув пальцем в самую нижнюю, одиноко выступающую из плотных рядов фамилию, сказал — это я.

И это был единственный раз, когда он позволил им воочию увидеть истоки своей крови, но сам он как минимум раз в неделю раскладывал ватман и часами просиживал над ним, точно археолог, путешествующий по миру посредством географической карты, упорно расшифровывая знаки, выискивая пометки, означавшие болезнь сердца. В эти часы мать, улучив момент, неизменно говорила Марии — этот человек скрывается от закона и говорила — вот увидишь, — и неустанно повторяла эти слова, нанизывая свои сомнения на спину негибаемого характера дочери, пока последняя не взвилась наконец, уступив приступу праведного гнева, и не закричала — ну и пусть, пусть! — а потом сказала спокойнее, криво улы-

баясь каким-то своим мыслям — я-то не закон — и сказала — ведь я-то не закон; но мать ей сказала — это правда, я чувствую, что это правда; тогда Мария, глядя матери в глаза, впервые произнесла вслух единственное правило, которое сумела вывести за тридцать пять лет жизни, — есть одна только правда, и она состоит в том, что мы живем здесь и нигде больше, и только этой правды следует придерживаться, в эту правду следует верить, а все остальное ложь, потому что все остальное можно вывернуть наизнанку.

За два дня до того, как они с Марией законно оформили свои отношения, он купил у вдовы художника Пала серый, нестарый еще костюм, за сумму более чем скромную, с тем, чтоб надеть его на свадьбу. Перед этим вдова сказала ему — надо тебе знать — мой муж умер в этом костюме; тогда он ей сказал — а я стану в нем жить; она ему сказала — ну, живи — и сказала — только не живи так, как жил он. А накануне свадьбы Мария, увидев, как он перекладывает из кармана рубашки в карман пиджака грязную тряпку, ту самую тряпку, в которой было что-то завернуто, приблизившись к нему, сказала — погоди — и протянула ему небольшой табачный кисет, который нашла в ящике старого комода, среди вышедших из оборота денег, ветхих носовых платков и пожелтевших писем; он молча смотрел на нее; она ему сказала — выброси эту тряпку — и сказала — переложи все в этот кисет и носи с собой, если хочешь; он так же молча смотрел на нее, а потом развернул тряпку, в которой оказались паспорт, военный билет, немного денег и два маленьких сверточка из папиросной бумаги; она спросила — а что здесь? — указывая на маленькие сверточки; тогда он медленно, бережно развернул хрустящую папиросную бумагу, и она увидела семь белых зубов и локон волос, и она спросила, дотронувшись до них пальцем — это твои зубы?; он ей сказал — да — и сказал — эти зубы выпали у меня в детстве, а потом выросли другие; она улыбнулась, а он смотрел на нее, и это был один из тех редких случаев, когда в груди его царил глухая тишина; она сказала — а это волосы ребенка; он ей сказал — семилетнего ребенка; она спросила — это твои волосы?; он ей сказал — нет — потом спокойно сказал — это волосы Идеи.

А уже на следующий день после скромной, незаметной свадьбы он вновь надел серый выглаженный костюм, в котором умер художник Пал, и пошел в районное бюро по трудоустройству, где в квадратной светлой комнате с кактусами и столетником на облупившемся подоконнике женщина средних лет, с лицом желтым, непроницаемым, как дыня, узнав, что трудовая книжка им потеряна неизвестно где, принялась перечислять профессии, заглядывая в какие-то бумаги, кипами лежавшие на лакированном столе, а он молча, тупо покусывал ногти, сидя на колченогом стуле, одурманенный нудным, усыпляющим голосом, произносившим, казалось, одно только слово, но на разный лад, предлагавшим, казалось, одну только профессию, но с разными интонациями; одурманенный шуршанием ненавистных бумаг, он ответил ей лишь раз,

когда она предложила ему работу, связанную с писаниной, и он с яростью сказал — я ненавижу копаться в бумажках!; и наконец она сказала — ну, хорошо — и спросила — на что ты годен? что ты умеешь делать?; тогда он не задумываясь сказал — стрелять.

И он устроился работать в обшарпанный, грязный тир на базарной площади, где в течение четырех дней навел небывалый порядок, ибо видел в этом глубокий смысл. Твердо убежденный, что навсегда покончил с пустым гулким существованием, приходил на работу с рассветом и до открытия упорно, самозабвенно возился в сухом, холодном помещении тира, начищая духовые ружья, подкрашивая вырезанные из тонких листов железа фигурки зверей и птиц, используя при этом исключительно яркие краски, чтобы облегчить попадание в цель людям со слабым зрением; он заменил тусклые, едва тлеющие лампочки, и в помещении тира стало просторно и светло, смастерил крепкие, устойчивые скамейки для маленьких детей, а также подставки для ружейных стволов. В десять часов утра он открывал тир, садился в свою каморку с узким окошком, откуда выдавал пульки, и сидел там, погруженный в целебные воды тихой радости, не замечая посетителей, не замечая, как его собственные руки принимают деньги и отсчитывают пульки, но улавливая каждый шорох, каждый подземный стон, ибо биение сердца не мешало ему более слышать мир. Как раз в это время люди, встречаясь с ним взглядом, стали замечать в его глазах спокойную, холодную мудрость, а те, кто разговаривал с ним, вынуждены были напрягать слух, чтобы услышать его тихий, умиротворенный голос. А вечером, тщательно прибравшись в тире, он шел домой, прижимая к беззвучному сердцу табачный кисет, в котором хранились семь белых зубов и волосы Идси.

Между тем мать Марии, чьи стареющие ноги, оплетенные взбухшими сине-зелеными венами, точно старинные бутылки, требовали тепла, стала явственно замечать веяния холода от резких движений зятя, и холод этот за три месяца его проживания распространился по всему дому, пропитав кирпичные стены. Она стала замечать пронзительную космическую прохладу, исходящую от крашенных досок пола и поверхностей столов, прохладу от шкафов, зеркал и швейной машинки. Она стала замечать, что одевается в доме теплее, чем при выходе на улицу. В доме исчезли мухи, а те, что не сумели вылететь, засыпали и дохли, как глубокой осенью. Она говорила в холодную пустоту — это что? — и — что это? — и — это новая жизнь?

Святое распятие, которое она неизменно украдкой целовала на ночь, стало ледяным, и ее не покидало ощущение, что, продержи она ноги железного Христа у своих губ дольше минуты, отделять губы от распятия придется при помощи горячего молока, как было много лет назад, когда в морозный день она прикоснулась губами к железной стойке качелей.

Изо дня в день она наблюдала за Марией и думала — она поймет — и — она прозреет. Но потом, вконец отчаявшись, она сказала — ты

чувствуешь, что твой муж превратил дом в погреб? — а потом спросила — как ты можешь с ним спать, если даже я, в другой комнате, ложусь в постель, как в сугроб? Но Мария ничего не замечала, двигаясь по холодному дому, точно горящая спичка, вынашивая в себе адов пламень неукротимой фанатичной любви, способной не то что растопить лед, но поджечь его, как сухой спирт; а мать, забывтая, как могила, говорила ей — боже, да ведь мы подохнем здесь, на этих негнущихся простынях.

Но хотя опасения матери были сильно преувеличены, она порой замечала за своим зятем такое, от чего каждому стало бы не по себе. Например, она была свидетелем того, как он продержал в руке маленький кусок сливочного масла не менее пяти минут, а масло не только не растаяло, но, напротив, затвердело еще больше, и она прониклась убеждением, что в жилах его вместо крови циркулирует та жидкость, которую используют для нагнетания холода в морозильниках. И по мере приближения зимы она все чаще говорила Марии — холодно — и говорила — я мерзну — и говорила — я коченею. Мария ответила ей лишь однажды: она сказала — ты мерзнешь от своих дурацких мыслей. А на следующий день, вернувшись с работы, Мария застала мать сидящей на собранных вещах. И она остановилась перед ней и тихо, зло спросила — что это? — и еще тише спросила — куда ты собралась?; мать, глядя в угол, где висела опустевшая наполовину вешалка, отстраненно сказала — я устала от этих снов; Мария спросила — от каких снов? — и сказала — черт! — и сказала — тебе вечно что-нибудь снится — а потом спросила — куда ты собралась?; мать сказала — я поеду жить к сестре; Мария спросила — почему?; мать молча смотрела в угол, поджав сморщенные губы; Мария закричала — почему? Ты мне можешь сказать, почему? Мать сказала — там тепло.

Он присутствовал при отъезде матери, но не придавал ему значения, не желая нарушать установившегося соотношения нагрузки и опоры в своем организме, ценя превыше всего эту мертвую уравновешенность, возможную лишь в архитектонике, которая появилась в нем с тех пор, как он устроился работать в тире, где изо дня в день спокойно, размеренно, неустанно поддерживал идеальный порядок, не расставаясь дольше чем на ночь с начищенными духовыми ружьями и яркими обреченными фигурками зверей, не отнимая от сердца семь белых зубов и локонов волос; при этом он не замечал сухого холода, которым наполнил, заразил дом, не замечал необратимого процесса порчи, проникнувшей даже в камень, поселившейся в стенах, где яростно и беззвучно горела порожденная крайним одиночеством и беспощадным временем любовь его жены.

И уклад его жизни после отъезда матери оставался все так же размерен и неизменен, если не считать кое-каких новшеств, связанных с работой в тире, — таких, например, как стрельба по живым мышам, что он проделывал с непогрешимой, сверхъестественной меткостью, вот уже полмесяца после того, как случайно появившаяся в помещении тира

мышь натолкнула его на мысль одухотворить крайне механическую стрельбу, привнести в нее животный азарт псевдосмертельной игры, лихорадочную сладость которой познал сполна его давний родственник, охотившийся в прошлом веке на диких кабанов в тайге Сибири, кому, по всей вероятности, он и был обязан своим безошибочным глазомером, молниеносной реакцией и безжалостным исполнением, чья кровь преобладала в его крови, чьи инстинкты жили в его теле, наделяя члены электрической стремительностью, — тот дал ему все, кроме масштабов, кроме человеческой величины и величины дичи. Между тем он в отличие от Марии и ее матери не мог не видеть явного вырождения своего рода, часами просиживая над ватманом, охватывая взглядом все фамилии нынешнего плена, вспоминая все, что в состоянии был вспомнить, извлекая на свет белые кости полузабытых преданий, испытывая при этом чувство, какое испытывает человек, глядя в перевернутый бинокль; но, сознавая все это, он с недавних пор свято уверовал в ремонтантность, на примере лобелий и бегоний убедившись, что в этом мире вырождение рода граничит с его возрождением, а порой связано настолько тесно, что постороннему взгляду не заметен сам переходный момент. Уверенность его была столь велика, что он, предчувствуя в себе семя, способное дать миру росток великого, могучего племени, как-то утром подтащил к дому садовую лестницу и залез на чердак, с тем чтобы спрятать, похоронить там ватман как нечто позорное, обличающее; и в тусклых лучах серого света, проникавшего на чердак сквозь маленькое, заросшее паутиной окошко, медленно, неуклюже двигаясь в густой древесной пыли среди ломких репродукций Васнецова, он бормотал себе под нос — я поставлю природу раком — и бормотал — я поступлю с природой так, как сочту нужным; и, пробравшись в дальний угол чердака, он спрятал ватман между обтесанными бревнами и место это завалил старыми революционными журналами, чтобы, уподобившись цветам, навсегда забыть неумолимое прошлое. После этого, не расставаясь с табачным кисетом и его содержимым — с этим скромным, почти невесомым реликварием, который в его сознании весил и значил не меньше, если не больше, чем дагобы, субурганы и мавзолеи, — он с головой ушел в охоту на мышей, смастерив для этой цели захлопывающийся плексигласовый ящик с примитивным механизмом, который, однако, действовал безотказно, исползуя в качестве приманки куски высушенного сыра.

Время от времени Марию навещала мать. Она входила в дом и с порога спрашивала, дома ли муж, а услышав отрицательный ответ, шаркающей походкой бродила по комнатам, не обращая внимания на Марию, которая обычно неподвижно стояла в стороне, скрестив руки на впалой груди. Движимая злорадством и отчаянием, мать шевелила высохшими губами, старательно подсчитывая вслух трещины и желтые подтеки на потолке, обращая внимание на все, что отваливалось и покрывалось плесенью; указывая обличающим пальцем на что-либо, она говорила — вот! — и говорила — вот! Тогда Мария холодно говори-

ла — это было. Иногда мать простучивала стены, после чего говорила — не вздумай что-нибудь вешать на стены — а потом говорила — эти стены можно копать лопатой, как кучи песка — и говорила — упасть им не дает только слой краски. Увидев почерневшие серебряные ложки и вилки, она пришла в состояние, близкое к реанимационному, потому что была твердо убеждена — серебро не может почернеть. А коль скоро почернел благородный металл, значит, нет в мире материала, который не рассыпался бы прахом от коммунистического прикосновения ее зятя; и мать сказала — кроме тебя, Мария. В другой раз она сказала Марии — ты должна вытащить у него этот чертов табачный кисет и утопить его в болоте — и сказала — вместе с тем, что в нем лежит!; Мария сухо спросила — зачем?; мать переспросила — зачем? — а потом сказала — а зачем он повсюду таскает свои выпавшие зубы и волосы, как крест? — Мария сказала — это его дело; мать спросила — чьи это волосы?; Мария молча смотрела матери в лицо; мать спросила — чьи это волосы?; Мария сказала — мне кажется, это волосы женщины; мать спросила — какой женщины?; Мария глухо, неуверенно сказала — женщины по имени Идея; тогда мать с презрительным сожалением сказала — Идея — это не женщина — а потом сказала — Идея — это идея — и, двинувшись к двери, не оглядываясь, сказала — это знают все — и сказала — кроме тебя, Мария.

С тех пор, как он избавился от ватмана, похоронив под кипами старых революционных журналов биологическую карту своего рода, а вместе с ней здравую логику жизненных процессов, уверенный, что нет и не может быть другой руки, кроме его собственной, которая возродила и продолжила бы спрятанный на чердаке перечень фамилий, время для него остановилось, и он всерьез задумался о бессмертии. Три недели спустя, когда он подошел к сущности бессмертия, опираясь на неподвижность времени при подвижности организма, когда сознание его готово было выплеснуться в пустоту, ему вдруг приснились мчащиеся черные лошади, и время тронулось вновь. Он проснулся с тяжелой головой и с горьким предчувствием беды отправился на работу. И это был тот день, когда ему сказали, что тир закрывают на зиму.

И тогда впервые за последние три месяца он услышал сердце, и, оглушенный, мгновенно забывший свои псевдосмертельные игры и раздумья над материальным бессмертием, бросился прочь из тира, распахнув ногой легкую дверь, и сначала быстро, а потом все медленней и медленней бежал в гудящей пустыне времени, пока ноги его не начали заплетаться от непосильной тяжести маленького, вибрирующего тела; а потом он, рухнув, коснулся губами жесткой, равнодушной земли, и в мозгу у него расцвел черный цветок.

Дед, который развозил на скрипящей повозке бидоны с молоком, погоняя рыжую, плешивую клячу пеньковой веревкой, отвез его в крас-

ную кирпичную больницу, где его, все еще трясущегося, пахнувшего пролитым на ухабах молоком, подняли и понесли на носилках двое санитаров. В палате они раздели его и положили на неряшливо застеленную кровать, и до вечера он пролежал в бреду, погруженный на дно осени, пытаясь постичь черным цветком мозга, какой сволочи понадобилось лишить его любимой работы на том дурацком основании, что со дня на день выпадет снег. А вечером к нему пришла Мария, но все ее слова, мучительная тревога, надломленность в движениях — само ее существование потонуло в гуле его сердца, как и существование всех остальных людей, живущих с ним в России.

Однако в четыре часа утра силы вернулись к нему, потому что, проснувшись, он уже знал, что делать. А в половине пятого он отворил больничное окно и прыгнул в пустой, темный, гудящий мир и, подхваченный ветром мира, побежал сквозь острый, царапающий свет звезд, сквозь гул и свист холодного, сухого воздуха по направлению к дому, на чердаке которого его ждал Ответ.

И только перепрыгнув через низкий редкий штакетник, огораживающий их дом, он взял себя в руки, замедлив свой резкий, неожиданный порыв, и двигался уже легко и осторожно, чтобы не разрушить, не спугнуть хрупкое понимание, родившееся в его мозгу полчаса назад. Легко и осторожно приставив лестницу к дому, рассчитывая каждое движение, невесомый и ловкий, он начал восхождение к Ответу. А потом, погружившись в крошечную тьму чердака, вытянув перед собой руки, ступая на ощупь, но не шаркая ногами, он добрался до угла, где под старыми революционными журналами нашел плотный, многократно сложенный ватман. Он извлек его, отряхнул от пыли, сунул в карман, так же мягко и осторожно спустился по лестнице вниз и зашел в сарай, где стоял самодельный слесарный верстак, сделанный покойным отцом Марии. Он потратил пять спичек, чтобы отыскать керосиновую лампу под кривым черным табуретом, встряхнул ее и, услышав плеск керосина, зажег; и расстелив ватман на земляном полу сарая, он опустился на четвереньки, склонив голову так низко, что почти касался носом аккуратно выведенных на ватмане фамилий, вынюхивая след, который был утерян им еще до того, как он научился читать, выискивая путь, ступив на который он найдет оправдание. А десять минут спустя он поднял голову и, стоя на четвереньках, сказал — там пуля. Потом он встал, сложил ватман, засунул его под самодельный верстак и вышел из сарая, не погасив керосиновую лампу. Перепрыгнув через штакетник, он остановился на дороге и, глядя вверх, сказал — это пуля. А потом он побежал по дороге, возвращаясь к открытому больничному окну, испытывая желание обдумать, осмыслить все это в белой больничной замкнутости, и темнота поглотила его легкую, прозрачную бегущую фигуру, сквозь которую можно было видеть звезды.

И впоследствии все, что делали с ним местные врачи и врачи, вызванные из большого города, в бесчисленных кабинетах и кабинках, разглядывая рентгеновские снимки его души сквозь белые лучи ребер, снимки его гудящего сердца, в котором с ужасом обнаружили свинцовую пулю, притаившуюся в мышце левого желудочка, обросшую тканевыми волокнистыми соединениями и вместе с рабочей мышцей гнавшую кровь по сосудам; разглядывая его белую тщедушную безволосую грудь в надежде найти отверстие от существующей в сердце пули, но не находя ничего отдаленно похожего, кроме соска, — все, что они делали с ним, они делали для того, чтобы просветить его темный мозг и придать настоящее и единственное значение непонятному знаку над фамилией охотника на кабанов, который был несправедливо забыт, но означал, что человек этот полжизни прожил с пулей в сердце, куда ее всадили на охоте то ли по недоразумению, то ли по злему умыслу, — и теперь, спустя семь поколений, его наследника постигла та же участь, но с рождения, без выстрела — и все, что они делали с ним, они делали для того, чтобы напомнить ему, что циклу зимы отведено столько же времени, сколько циклу лета, и циклу гула — столько же, сколько циклу тишины, и циклу вырождения столько же, сколько циклу возрождения, — это не медленно, но и не быстро. Они приходили к нему и спрашивали — что ты в себе чувствуешь? — спрашивали каждый раз — что ты в себе чувствуешь?

И действия их достигли цели, неведомой им самим, в ту ночь, когда, забывшись глубоким сном, он увидел лес давней охоты и встающего с земли человека. Наутро он потребовал у медсестры свою одежду, а она спросила — зачем? Он сказал — я ухожу домой — и сказал — я все понял. Но ему было отказано, и тогда, дождавшись прихода Марии, он велел принести из дома его костюм. И в тот же день, облаченный в костюм мертвого художника, сжимая в маленьком кулаке табачный кисет, в котором хранились семь белых зубов и волосы Идеи, он предстал перед главным врачом и спокойно сказал — я ухожу домой — и сказал — я все понял; тот сказал — ну нет; он сказал — я ухожу; а тот прищурился и спросил — что ты в себе чувствуешь?; и тогда он твердо сказал — уверенность.

СОДЕРЖАНИЕ

Листья	3
Цепь	23
Страна происхождения	38

БАКИН Дмитрий Геннадиевич

ЦЕПЬ

Рассказы

Редактор В. Н. Вигилянский

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 29.07.91. Подписано к печати 6.09.91. Формат 70 × 108¹/₃₂.
Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10.
Усл. кр.-отг. 2,28. Уч.-изд. л. 3,31. Тираж 81000 экз. Заказ № 802. Цена 20 коп.

Типография издательства «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

**В СЕРИИ «БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА
ВЫШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

- И. КОНСТАНТИНОВСКИЙ «Тайна земли обетованной»;
- А. ПЛАТОНОВ «Технический роман»;
- В. КАРДИН «К вопросу о белых перчатках»;
- А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ «РОССИЯ — POESIA»;
- В. ТОКАРЕВА «Старая собака»;
- З. ГИППИУС «Последние стихи»;
- В. ЕРОФЕЕВ «Попугайчик»;
- Ф. ИСКАНДЕР «Поэты и цари»;
- А. ХУРГИН «Лишняя десятка»;
- Н. ИЛЬИНА «Власть тьмы»;
- Н. КОРЖАВИН «Письмо в Москву»;
- П. СТРУВЕ «Скорее за дело!»;
- Л. РАЗГОН «Перед раскрытыми делами»;
- Б. СЛУЦКИЙ «О других и о себе»;
- Б. АХМАДУЛИНА «Побережье».